

[Polaris]

ЖОРЖ ДЕЛАРМ
(Ю. СЛЕЗКИН)



КТО СМЕЕТСЯ
ПОСЛЕДНИМ

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CDIV



Salamandra P.V.V.

**Жорж
ДЕЛАРМ**

КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ

Советская авантюрно-фантастическая
проза 1920-х гг. Том XXXIII

Salamandra P.V.V.

Деларм Ж. (Слезкин Ю. Л.)

Кто смеется последним. Роман с предисл. редактора и заключением издателя, в которых даны некоторые сведения об авторе (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Т. XXXIII). – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2022. – 150 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CDIV).

Прозаика Юрия Слезкина (1885-1947) помнят сегодня в основном как одного из друзей-недрузей М. А. Булгакова, однако в 1910-1920-х гг. он был весьма популярным и даже знаменитым беллетристом. Особое место в его наследии занимает авантюрный роман-мистификация «Кто смеется последним» (1925), созданный под именем вымышленного французского автора «Жоржа Деларма» (буквальный перевод имени и фамилии писателя на французский язык) – повествование о хитроумной афере на фоне сатирически изображенной буржуазной Франции. С 1928 г. роман переиздается впервые.

Ж. ДЕЛАРМ

КТО СМЕЕТСЯ
ПОСЛЕДНИМ

С ФРАНЦУЗСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1 9 2 5

**КТО СМЕЕТСЯ
ПОСЛЕДНИМ**

ПРЕДИСЛОВИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Настоящий перевод сделан с 700-го французского издания. Автор романа в своем предисловии от имени редактора предугадал широкую распространенность, какую получит его произведение. В настоящее время французская читающая публика особенно чутка ко всему, что так или иначе связано с общественной и политической жизнью страны, особенно если за теми или иными литературными масками она угадывает знакомые лица, известные имена из правительственного и финансового мира.

Роман «Кто смеется последним» вызвал сенсацию не по одному тому, что идея его будоражит, а потому, что фарсовый оттенок событий, развертывающихся в нем, очень близок действительности, которую иные тщательно пытаются замаскировать.

Сам автор романа, скрывшийся под тремя псевдонимами (Плюмдоре, Деларм и изд. Фаскелле), до сей поры не был известен. Он молод, недостаточно опытен, но, несомненно, обладает данными, позволяющими видеть в нем писателя с явно выраженным сатирико-общественным уклоном, так характерным в творчестве большинства французских писателей. «Кто смеется последним» можно отнести к произведениям авантюрно-памфлетного типа, что делает его занимательным и острым.

Русскому читателю роман этот интересен еще и потому, что в нем он найдет меткую характеристику политической кухни буржуазной республики и своеобразное преломление автором идей, едва переваримых старой Францией, но близких нам и давно воплощенных у нас в жизнь.

Написанный в 1923 году роман Деларма к тому же является пророческим, так как предугадал события политической жизни Франции настоящих дней.

1924 г., ноябрь, Москва

Юрий Слезкин

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 601 ИЗДАНИЯ

Роман «Кто смеется последним», подписанный неизвестным до сей поры именем Жоржа Деларма, вышел в Париже в 1923 году отдельным изданием и в два месяца разошелся в 275 тысячах экземпляров, а в настоящее время тираж его возрос до 600 тысяч.

Такой необычайный успех романа у читающей публики, затмивший успех последних романов Виктора Маргерита и Пьера Бенуа, вызван как несомненными художественными его достоинствами, остротой и современностью интриги, так и тайной, которою окружил себя автор.

Жоржа Деларма никто не знает и никто не видал. О Жорже Деларме говорит весь Париж. Газеты «Голуа» и «Жиль-Блаз» объявили премию фотографу, которому удастся поймать в объектив своего аппарата лицо знаменитого незнакомца.

Началось с того, что 13 июля 1923 года депутат центра сделал запрос правительству, — знакомо ли оно с содержанием выпущенного в июне месяце романа некоего Жоржа Деларма «Кто смеется последним» и если знакомо, то что оно намерено предпринять в ограждение граждан от тлетворного влияния этого во всех смыслах зловредного, оскорбительного для каждого честного француза произведения, в котором не только затронута честь Франции, но и поколеблены устои морали, законности и традиций.

Министр полиции, сославшись на то, что *ему нет возможности* следить за всеми литературными новинками, вы-

ходящими на книжном рынке, заметил, что, по его мнению, следовало бы изъять из обращения большинство современных романов, в том числе и таких, которые премированы Академией, а потому, пока не будет издан закон о праве конфискации в административном порядке литературных произведений, до тех пор он бессилен, а Франции грозит гибель.

Тем не менее, в тот же день на квартиру издателя романа «Кто смеется последним» Эжена Фаскелле — rue de Grenelle, 11 — явился полицейский агент и, предъявив свою карточку, попросил сообщить ему точные данные об авторе нашумевшей книги.

М-г Фаскелле, налитый жиром буржуа, несущий свое тело подобно студню, вышел к агенту в персидском халате, долго тряс ему руку, рассыпался в любезности и взволнованно заверял его, что сам не имеет никакого понятия о Жорже Деларме.

— Это первый случай в моей практике, — повторял он несколько раз, меланхолически прищелкивая языком, — совершенно исключительный случай. Рукопись романа «Кто смеется последним» я получил по почте, переписанную на машинке. При рукописи имелось краткое письмо, где автор предлагал ознакомиться с романом, всячески его расхваливал, заранее соглашался на все условия, а гонорар просил направить до востребования предъявителю почтовой квитанции № 47892 от 22 мая 1923 года. По правде говоря, у меня вовсе не было желания издавать мазню какого-то неведомого писака. Я бросил рукопись, не читая, в шкаф, где у меня хранится подобный же хлам. Вы сами понимаете, м-г, что издательское дело — очень серьезное и ответственное дело, не позволяющее нашему брату тратить время по пустякам. Мне, издавшему ряд бессмертных книг Пьера Луиса, Анри де Ренье и других блестящих мастеров слова, не пристало печатать бумагомаранья каждого встречного. Но, однажды, вернувшись домой, я застал мою дочь Анжелику в большом волнении. «Папа, — вскричала она, — откуда у вас этот изумительный труд? — И показала мне на лежащую перед нею тетрадь. — Почему вы положили

его в шкафу рядом с непринятыми рукописями? Знаете ли вы, что это — гениально, изумительно, потрясающе!» «Но о чем же ты говоришь, дочь моя?» — спросил я ее. «О романе “Кто смеется последним”» — отвечала она. Моя дочь экспансивная девушка, сударь, — продолжал издатель в эгегическом тоне, — она очень легко приходит в восторг; всякая новая идея ее увлекает. С этим ничего не поделаешь. Таково время. К тому же, между нами, она увлечена русской революцией. Вы понимаете... Я не очень препятствую — это не грозит никакими последствиями: Россия далеко, хладнокровие придет в свое время, а в молодости следует перебеситься. Но, все же, я взял рукопись и, лежа в кровати, отходя ко сну, начал ее просматривать...

Тут м-г Фаскелле от элегии перешел к героическому пафосу:

— М-г, — вскричал он, — вы, конечно, не сомневаетесь, что я честный благонамеренный француз, что для меня дороги незыблемые устои честных традиций нашей обожаемой республики, что никто не сумеет доказать мне, что черное — белое, а дважды два — равно пяти. Моя фирма существует более пятидесяти лет. Я продолжаю дело, начатое моим дедом, и надеюсь передать его своим детям. Все, что вы видите здесь, говорит об устойчивости, твердости вкуса, никакая эксцентричность не оскорбит наши принципы. Но... м-г, одно дело — личная жизнь, личные вкусы и убеждения, другое дело — коммерция. Здесь мы должны считаться с условиями рынка. У нас должен быть нюх, даже если бы от запаха, распространенного вокруг, вы готовы были бы зажать ноздри. Увы! — наш век пахнет весьма скверно: я бы даже сказал, — он любит запах гнили. Он к нему привык за годы войны. И должен вам сказать по секрету, что изысканный запах моих высокочтимых сотрудников Пьера Луиса и Анри де Ренье — не по носу современному читателю, — он их не ценит, не чтит, не покупает. *Мой бог!* Традиции рушатся, вера убывает, гражданская доблесть вырождается в анархизм.

Издатель вынул зеленый шелковый платок и вытер покрасневшие глаза.

Потом, запахнув персидский халат, он налил агенту рюмку рубинового ликера и продолжал:

— Сознаюсь вам, m-г, несмотря на все мое отвращение к подобного рода литературе, я прочел роман Жоржа Деларма в один присест, не смыкая глаз, а наутро передал его в типографию. Увы! Дело и убеждения часто противоречат друг другу. Роман — отвратителен, нагл, он глумится над всем, что у нас осталось святого, он издевается над властью, над религией, над семьей, он никогда, клянусь, не увидит полки моей библиотеки, но — что поделаешь — он написан вовремя, он разошелся уже в 272 тысячах экземпляров, и заказы на него поступают со всех сторон ежедневно. Ничего не поделаешь, коммерция — есть коммерция. Но я дорого бы дал за то, чтобы вам удалось поймать его автора и засадить в тюрьму. Он этого стоит, уверяю вас. Я даже подозреваю — не большевик ли он? Во всяком случае, близок к этому. Быть может, вы найдете возможным, объявив его вне закона, лишить права на гонорар... В таком случае я был бы вам крайне признателен.

М-г Фаскелле грузно поднялся, протянул обе пухлые ладони и долго тряс ими тощую руку агента.

— Желаю вам успеха, — сказал он, — от всей души желаю его вам.

На следующий день «Матен» и «Жиль-Блаз» поместили на своих страницах портрет издателя и привели полностью его разговор с агентом, как пример изумительной мудрости, финансового гения и гражданской доблести.

«Побольше бы нам таких m-г Фаскелле, таких скромных, честных буржуа, и нам не страшны никакие бури, никакие потрясения, никакие Жоржи Делармы, нагло пытающиеся убедить нас в том, что дважды два — не четыре, а пять.

Руки прочь от Франции!

Никто не поколеблет ее всеевропейскую гегемонию!»

Таковыми патетическими словами заканчивал хроникер эту нравоучительную беседу.

Как бы то ни было, книга продолжала расходиться с неимоверной быстротой и в небывалом количестве экземп-

ляров; критики всех лагерей точили на ней свои перья, поговаривали даже о том, что ей будет присуждена Гонкуровская премия, — а автора ее — Жоржа Деларма — все еще никто не видал.

Установили слежку за получателем гонорара в почтамте. Но предъявитель квитанции за № 47892 оказался хроменьким старичком и к тому же — глухонемым. На все вопросы он кивал головой и бессмысленно улыбался. Ему пытались писать записки, но он разводил руками, объясняя этим, что он неграмотен. Повода к его аресту не представлялось. Это был скромный маляр, живущий за крепостным валом и знакомый всему кварталу под именем Пьера Пото.

Но почему он получал гонорар Жоржа Деларма? Что делал старик с этим гонораром? Этого никто не знал.

Пото продолжал жить так, как он жил раньше. С утра уходил на работу с кистями и ведрами, вымазанный красками с головы до ног, улыбаясь своей бессмысленной улыбкой. Поздним вечером он возвращался домой и принимался за свой скудный ужин, приготовленный его соседкой по квартире — горластой m-me Фракас. Так шло изо дня в день.

По воскресениям m-r Пото напивался и пьяный спал до следующего утра.

Все эти сведения мы почерпнули тоже из парижских газет, очень точных во всем, что касается какой-либо сенсации.

В настоящее время, когда подготавливается к выпуску 601 тысяча романа, никаких новых данных об авторе его не поступало, а потому мы принуждены ограничиться только теми сведениями, какие были нами приведены выше.

Пишет ли еще что-нибудь Жорж Деларм, или «Кто смеется последним» — единственное его произведение, собирает ли он всецело посвятить себя литературе, или известный нам роман — случайная обмолвка человека, увлеченного иною деятельностью, является ли инкогнито автора остроумно придуманным рекламным трюком (в котором, быть может, замешан сам издатель), или таинственность поведения Деларма вызвана иными, более серьезными причинами

характера конспиративно-политического, даже уголовного — судить трудно, но, во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать, что предлагаемый нами его труд, несомненно, заслуживает должного внимания. Он оригинален по замыслу, остроумен по содержанию, увлекателен по фабуле, а главное — беспощаден в анализе современного французского буржуазного общества, где, скрытые под личиной непреложности морали, закономерности существующего порядка, — расцветают пышным цветом пороки и гниль разлагающегося класса.

Автор резок и прям в своих приговорах, герой его несколько демагогичен, но полон подкупающей смелости и здорового оптимизма.

Азарт — этот нерв современности, — борьба азарта благородного и низменного — вот основа романа, его душа.

Роман делится автором на три эпизода трех суток, представляющих из себя некое замкнутое звено единой цепи. А ввиду того, что фигура самого автора, благодаря своей таинственности, тоже представляет известный интерес для читающей публики, мы берем на себя обязательство — все новые сведения, получаемые нами о Жорже Деларме, тотчас же сообщать читателю, если это разрешат нам технические условия, в виде особого приложения к книге или даже к тому или иному эпизоду романа. Таким образом читатель постепенно ознакомится как с самим произведением, так и с биографией автора этого произведения.

Льстим себя надеждой, что и с тем и с другим читатели ознакомятся до конца, и приносим нашу искреннюю признательность глубокоуважаемому издателю, m-г Фаскелле, за представленную нам возможность расширить настоящее издание помещением тех биографических данных об авторе, каковые будут находиться в наших руках.

Антуан Плюмдоре

Париж, 1923 г., 11 ноября

АВТОР —
ФРАНЦУЗСКОЙ АКАДЕМИИ

Блистательные собратья!

Вам — достойным преемникам великой культуры нашей страны, Вам — глубокомысленным блюстителям ее традиций, Вам — пастырям законов языка и канонов стиля, Вам — непререкаемым ценителям прекрасного, навеки окаменевшего, подобно архитектуре «Notre Dame», Вам — безупречным математикам человеческого духа, Вам — закройщикам его одежд, Вам — праведным судьям ошибок в синтаксисе и в нравственности, Вам — доблестным рыцарям прекрасной Дамы, именуемой Свободой, Вам — стражам у врат славы и респектабельности, Вам — твердо знающим, что земля вертится вокруг оси неизменно в одну и ту же сторону, что после осени приходит зима, а отнюдь не обратно, что только лишенная невинности девушка может родить, а пользоваться благами жизни имеет право только тот, кто угнетает других, что лавры даются лишь академикам и кухаркам, что правительство существует для того, чтобы добрый буржуа мог спокойно переварить свой обед, что логика так же необходима и непререкаема, как ночной колпак, а дважды два, — всегда и неизменно, во веки веков, — равно четырем, Вам — очаровательные парнасцы — посвящая эту легкомысленную книгу, где, наперекор рассудку, все поставлено вверх тормашками и где торжественно, громко, во всеуслышание автор, не стесняясь своей глупости, заявляет, что — $2 \times 2 = 5$.

Приятных сновидений!

Жорж Деларм

1 мая 1923 г., Париж

ПЕРВЫЕ СУТКИ
МАРСЕЛЬСКИЙ СКЕТЧ

ГЛАВА ПЕРВАЯ — ГДЕ ДАН ОДИН НЕИЗВЕСТНЫЙ

6 ноября в 10 часов утра в Марсельский порт вошел трехтрубный, большой нагрузки товаро-пассажирский пароход «Гельголанд» под шведским флагом.

Пришвартовавшись у пристани № 16, он начал не спеша выгружать пассажиров, после чего должен был отойти к товарным складам.

Дежурный филер* Патату, окинув наметанным глазом суесящуюся группу пассажиров, тотчас же определил социальное положение каждого из них. Никто из этих скромных буржуа, двух-трех шведов-коммерсантов да нескольких рыбацких финских семей — не могли его заинтересовать, и только один, несколько необычного вида субъект, несомненно — иностранец, остановил на себе внимание Патату.

— А ну-ка, Патату, определи, кто это может быть, — меланхолично задал себе вопрос филер, скуки ради усвоивший привычку говорить с самим собой. — Социальное положение? Полагаю — интеллигент. Профессия?.. Гм... я бы сказал — монтер, судя по его мешку... Национальность? — нечто весьма странное — помесь англичанина с малайцем... Во всяком случае, птица стреляная, видать по всему. Не мешает, старина, полюбопытствовать, что станет он делать дальше...

Тем временем неизвестный, не нанимая носильщика, держа в руке небольшой легковесный дорожный баул из непромокаемого, кофейного цвета брезента, медленно, шагом фланирующего человека прошел вдоль набережной мимо доков, внимательно оглядывая верфи, подъемные краны, фоксами снующие катера, аспидных от угольной пыли портовых рабочих, истерически взвизгивающих чаек. Минув ряд параллельных друг другу улиц, поднимающихся от набережной вверх, широкой перспективой к центру города, вновь прибывший все так же, не ускоряя шага, сошел по

* Сыщик.

каменным ступеням отлогой лестницы в низменную часть порта, в рыбный квартал, беспорядочно загроможденный каменными ящиками амбаров, пакгаузов, элеваторов, рыбных складов, сушил.

Здесь, протянувшись таракаными щупальцами между просмоленных и просоленных домов, населенных матросами и рыбацкими артелями, между жалких, изъеденных ветром, похожих на искрошенные гнилые зубы лачуг, — скрещиваясь, переплетаясь, валясь друг на друга, ползли затхлые, тухлые, липкие переулки. Незнакомец без всякой видимой причины остановился, положил на каменные заплыванные плиты свой баул, удовлетворенно потер руки, ладонь о ладонь, хрустя суставами худых, жилистых пальцев, еще раз глянул на движущееся, хрипящее, дымное месиво кораблей, лодок, катеров, парусных рыбацких шхун, плывучих мостов, — смачно плюнул в жирную, расходящуюся радужными кругами воду, снова подхватил свой багаж и, нырнув в переулок, решительным шагом направился к бару «Поющая скумбрия».

В баре приезжий учтиво поклонился хозяину, сел за первый от двери налево столик, протянул ноги, брезент свой кинул под стул, высморкался и отчетливой резкой скороговоркой, в которой легко было узнать иностранца, несмотря на правильное произношение, потребовал кружку портера, ломоть сыра и яблоко.

Лицо посетителя было широко, скуластые щеки, видимо, выбритые дня три тому назад, поблекли, скорее всего — от усталости, крупный рот складывался в неизменную, чуть лукавую усмешку, карие глаза сидели глубоко, но смотрели открыто, внимательно и спокойно, вся приземистая, тяжеловесная фигура приезжего, облаченная в мышинового цвета драповое, поношенное, но вполне приличное пальто, тоже не проявляла ни малейших признаков беспокойства, не внушала никаких подозрений.

Филер выпил у стойки кружку пива, взялся было за газету, зевнул, заскучал, посмотрел на часы — и со спокойной совестью удалился, предоставив иностранцу полную свободу коротать оставшееся до ночи время, как ему забла-

горассудится.

— Не угоняться же мне за всякой сволочью, — рассуждал бравый малый — и был тысячу раз прав.

В Марсель съезжались со всех концов света люди разных национальностей, и в конечном итоге все они были чем-нибудь подозрительны.

— Там, где навоз, там и черви, — вполне резонно изрек Патату, раздумывая, куда бы еще направить свои стопы.

Но не успел он принять решения, как мимо него с воплями пробежала женщина, а за нею здоровенный матрос с бутылкой, высоко поднятой над головой.

— Отдай мне мой кошелек, — орал он рокочущим голосом, точно хотел покрыть грохот бури, — ты все равно не уйдешь от меня, потаскушка!

В некотором отдалении, поддерживая друг друга и занимая всю ширину переулка, шествовало еще несколько матросов и солдат колониальных войск.

Патату забыл неизвестного, спрятал в карман философию и, по врожденному вкусу к приключениям, стал действовать.

— Держите ее, — крикнул он, пускаясь наперерез бегущей, — держите воровку!

Он опередил матроса, готовый схватить преследуемую за юбку, когда внезапно женщина остановилась, почти упав в его объятия.

— Спасите, — задыхаясь, прохрипела она, — это шантаж... я не воровка... Я заработала эти деньги... они хотят у меня их отнять. Все семеро... по очереди... за удовольствие, по десять су каждый... Это дешевле бананов... Потом они стали пить... им не хватило расплатиться с хозяйкой, — тогда они заявили, что я украла у них деньги... Видит бог — это правда.

Но матрос с бутылкой уже стоял рядом. Он рокотал, как из бочки.

— Эту шлюху нужно проучить как следует. Она увязалась за нами, чтобы мы ее угостили, строила рожи, лезла целоваться и незаметно свистнула кошелек. Я тебя вздерну на рее, размалеванная рожа.

— Хорошо, — сказал Патату, для большей внушительности напружив грудь, — мы это разберем в комиссариате. Не угодно ли следовать за мной?

— За вами? — багровея и подмигивая глазом, точно от нервного тика, спросил матрос.

— Да, прошу вас. Я полицейский агент.

— Ладно, — рывкнул один, — и мы с вами. За компанию веселей, не правда ли? — И, пройдя несколько шагов, добавил, обращаясь к товарищам: — Теперь ему легко будет нырнуть в воду.

— Даже не снимая сапог, — со смехом отвечал другой.

ГЛАВА ВТОРАЯ — ГЕРОЙ КОТОРОЙ ВСЕМ ИЗВЕСТЕН

Того же 6 ноября в Париже шел дождь. Впрочем, сказать шел — нельзя. Он низвергался, обрушивался водяной лавиной, как из гидравлического пресса. Дома сплющивались, люди опрокидывались в грязь, лошади плыли. Но недремлющее правосудие вершило свой праведный суд.

На скамье подсудимых сидел Этьен Виньело — рисовальщик, карикатурист, известный всему Парижу — Этьен, по прозвищу «левша». Полиция нравов привлекла его к суду за распространение альбома с «развратными изображениями». Альбом этот, под общим заглавием «Вот человек», содержал в себе серию блестяще выполненных рисунков-сатир на современное общество и его нравы. Темы их были рискованны, но правдивы.

— Я не могу отрицать, что Этьен Виньело талантлив, — патетически восклицал прокурор, — но он посвятил себя изображению разврата. Художественное произведение, оскорбляющее чувство нравственности нормального человека, — развратно. Так гласит закон. Суд должен считаться с его точными указаниями. Остается лишь установить, был ли оскорблен в моральном отношении нормально чувствующий человек...

Прокурор сделал жест в сторону председателя суда.

Председатель — сухой, с чрезмерно длинной талией человек — скромно опустил глаза. Он считал себя нормально чувствующим человеком, — он был оскорблен.

Этьен Виньело, — молодой бельгиец с грубоватыми чертами лица деревенского парня, с широкими мускулистыми плечами, обтянутыми синей рабочей блузой, с коротко остриженной головой, — скучающим взглядом серых, охотничьих, прищуренных глаз скользил по переполненному залу.

Зал напоминал клумбу: так много в нем было дамских шляпок.

— Уяснили ли вы себе, что ваши рисунки могут оскорбить чувства других людей? — спросил председатель, пере листывая лежащий перед ним альбом.

Член суда из-под руки, прищурясь близорукими глазами, старался разглядеть рисунок.

Этьен Виньело встал.

— Да, господин председатель, — отвечал он, — я вполне себе уяснил это и очень рад, если могу вызвать отвращение. Такова моя цель. К тому же, господин прокурор, вы должны сознаться, что женщин, изображенных в моем сборнике, нельзя назвать красивыми. Своему произведению я придаю большое воспитательное значение, если позволено будет мне так выразиться, — оно не скрывает правды, но показывает ее без прикрас.

— Однако, — возразил председатель, — вот перед нами рисунок под названием «Гость». Позвольте вас спросить, почему мы обязаны представлять себе гостя в таком непристойном виде?

Этьен Виньело отвечал вопросом:

— А вы были, господин председатель, когда-нибудь в публичном доме?

— Что?

Председатель вытянул шею, члены суда уткнули носы в папки, по залу прокатился сдержанный смех.

— Переходим к следующей картине, — деревянно отчеканил председатель — так, точно говорил свое обычное: «Пе-

реходим к следующему пункту». — Перед нами рисунок под названием «Дома». Не сообщите ли вы нам, почему нужно изображать интимную домашнюю жизнь? Вы не женаты, господин Виньело?

— Нет, — отвечал Виньело добродушно, — но я знаю, как это делается.

Новый взрыв смеха заглушил слова председателя.

— Ваши ответы не могут удовлетворить суд, — настаивательно, сдерживая себя от приступа раздражения, перебил председатель. — Прошу отвечать точнее. Итак, переходим к следующему рисунку. Перед нами «Восторг». Рисунок был бы прекрасен, если бы была нарисована голова. Почему вы нарисовали лишь нижние части тела? Это тоже относится к «восторгам»?

Грохот смеха опять потряс стены суда.

Председатель задребезжал колокольчиком.

— Такова жизнь, — покорно отвечал художник.

Дело слушанием продолжалось. Анри Рапайль, — блестящий критик и журналист, сотрудник «Набата», вызванный в качестве эксперта, — воскликнул, ожесточенно теребя свою спутанную рыжую бороду:

— Нет ничего легче, как доказать невиновность Этьена Виньело, поставившего себе целью указывать на вырождение тела, души и любви как на последствие мещанской нравственности. Виньело следует сравнивать не с порнографами, а с Ювеналами всех времен. Нужно прекратить преследование Виньело — нашего славного сатирика, а обратить должное внимание на картинки издателей эротической макулатуры, выставленные во всех витринах художественных магазинов и служащие украшением квартир холостяков...

В это время дождь умерил свои порывы, клочок неба, видный из окна пятого этажа квартиры m-г Нуазье — профессора-египтолога, прояснился, точно стекло, протертое тряпкой.

M-me Нуазье, в длинной, плотно охватывающей ее крепкую, гибкую фигуру тунике, изнеможенно опустилась на стул.

— Вы довольны мною, m-г де Бизар?

Ее партнер, — бледный юноша с подкрашенными, плотно сжатыми губами, с четким профилем римского патриция времен упадка, в элегантном утреннем костюме подчеркнуто модного покроя, — приподнял свои покатые дегенеративные плечи и склонил голову с гладко зачесанными назад по-американски, лакированными волосами.

— Ваши успехи исключительны. С третьего урока вы танцуете, как истая профессионалка.

Тапер остановил разбежавшиеся пальцы. Из-за горба, вскочившего ему на плечи, подобно жокею, сжавшемуся в комочек на крупе лошади, тапер внимательно посмотрел на своего компаньона.

Стрелка старинных часов на камине показывала без пяти двенадцать. Пора было забежать в бар — позавтракать и выпить традиционные пол-литра бордо.

Тапер ясно слышал рулады в своем желудке.

— Вы мне льстите, — встряхивая белокурой головкой, отвечала m-me Нуазье, — меня не следует очень хвалить — это кружит мне голову. Во всяком случае, вы должны обещать, что первым кавалером моим в дансинге — будете вы.

— Это не только моя обязанность перед талантливой ученицей, но и огромное наслаждение...

Он, в свой черед, взглянул на часы.

— Однако, мне нужно раскланяться.

Она протянула ему руку — он нагнулся к ней.

— Потом мы поедем с вами ужинать, хорошо? — шепнула она ему на ухо. — Позвольте мне похитить вас на время у ваших поклонниц.

— Мы поговорим об этом после, — ответил он сдержанно, — это будет зависеть...

— Вздор, вздор, никаких отговорок. В этот вечер вы будете моим гостем. Идет?

Она поднялась и, закинув ему за шею руку, всем корпусом прильнув к нему, заставила его сделать несколько па фокстрота.

— Вы будете моим гостем, — повторила она настойчиво, — вы мне покажете все ваши уголки, всех ваших знаменитостей.

На пороге появилась горничная.

— Мадам...

— Что вам, Люси?

— Телеграмма.

— Телеграмма?

И пока m-me Нуазье распечатывала телеграфный бланк, де Бизар, кивнув таперу, поспешно распрощался с хозяйкой и, сопровождаемый горбуном, спустился на улицу.

Дождь едва накрапывал. Де Бизар постучал тростью о мокрую панель, достал папироску и закурил; черты лица его обмякли, приняли неприятное, кислое выражение человека, которому до смерти надоело все и вся.

— Вы идете завтракать, Карло?

— Да, если вы позволите, m-г.

— Ступайте. Вы мне не нужны до двух часов. В два — приходите к Ресвелькам. Там у нас занятия до четырех. По правде говоря, мне надоели эти тощие сестры Ресвельк. Они топчут, как дромадеры.

— Но зато наш гонорар у них значительно превышает остальные, — скромно заметил горбун.

— Еще бы, черт возьми. В конечном итоге, нувориши* затем и существуют, чтобы их доили. Однако, не смею вас задерживать, Карло. Пейте ваши пол-литра. А я немного пройду. Эй, малый!

Этот возглас обращен был к бегущему навстречу мальчишке с толстой кипой свежих дневных газет.

— «Ла Пресс!» «Ла Пресс!» — кричал газетчик тем особенным механическим скрипучим голосом, каким только и могут кричать газетчики. — Дело знаменитого художника Этьена Виньело!

— Дай-ка мне ее сюда. — Де Бизар перехватил трость под руку и взял еще липкий, пахнущий типографской краской газетный лист. — Ба, — протянул он. — Карло! Как тебе это нравится? Они оштрафовали Левшу на пятьсот франков за порнографию. Как это тебе нравится?

Но горбун не отвечал. Его и след простыл.

* Выскочки.

Де Бизар скомкал газету и, улыбаясь и посвистывая, пошел вдоль улицы мерной, эластичной походкой профессионального танцовщика.

Встречные дамы оглядывались на него, замедляя шаги. Какой-то молодой человек, с претензией на шик, остановился, разиня рот, с завистью провожая взглядом стройную фигуру.

Ну, кто мог не знать в лицо самого знаменитого в Париже человека, короля фокстрота, обольстительного любовника, чьи победы, дорого оплачиваемые жертвами, считались сотнями, аристократа с головы до ног — Проспера де Бизара!

.

Часы в гостиной m-me Нуазье пробили полдень.

Жанина Нуазье подняла с полу скомканную бумажку, разгладила ее на коленях, тупо глядя на скачущие перед глазами буквы, и произнесла сразу ставшими жесткими губами:

— Он...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

А с шести часов утра следующего дня в Марселе разыгрались те, всем известные события, о которых так много и долго писали в газетах Европы и Америки и которые явились как бы сигналом к ряду весьма многозначительных явлений.

Гавань спала.

Несмотря на резкие гудки с верфей и доков, гавань не желала проснуться. Подъемные краны независимо смотрели в небо, вагонетки застыли в немом созерцании, ощеренные прожорливые пасти люков не смыкались, тщетно ожидая обильную пищу; тяжелые тела океанских судов непод-

вижными поплатками замерли на поверхности празднично посветлевших вод. В рыбном квартале приземистые каменные ящики амбаров, сушен, лабазов утрюмо хранили свои рыбные богатства под деспотической охраной тяжелых замков, в то время как все бары*, пивные, трактиры и кафе этого квартала полны были веселой толпой матросов, грузчиков, рыбаков, портовых и судовых рабочих, отпусковых солдат африканских колоний.

Они сидели за каменными столиками празднично разодетые, пили пиво, смеялись, нисколько не заботясь о том, что «Mégur» в девять и три четверти должен был отшвартоваться, чтобы идти с грузом консервов в Порт-Саид, что пенька, кофе и пшеница, прибывшие из-за океана, должны быть выгружены к десяти и переправлены на поезд, идущий в Лион в 11 ч. 40 м., что фирма братьев Крук и К^о за эти полчаса теряет свой миллионный куртаж, что банкирская контора Лавалья в Париже через два часа лопнет, как мыльный пузырь, а либеральная газета «Благо народа», издаваемая на средства промысловой компании «Камбала», принуждена будет переменить курс, и что — самое существенное — новое рабочее правительство, организуемое вновь назначенным премьером Лагишем, бывшим депутатом департамента Уазы, может, ввиду этого странного происшествия, быть надолго скомпрометировано, несмотря на все свои широкообещательные декларации.

Они сидели за столиками, немилосердно дымили трубками, чокались кружками и вели непринужденный воскресный разговор, несмотря на то, что день этот был вовсе не праздничным, а самым обыкновенным будним, трудовым днем.

В семь утра не вышли трамваи из парков, закрылись типографии. В восемь Центральные бульвары, скверы и улицы стали наполняться гуляющими, преимущественно женщинами и детьми из рабочего квартала, — у некоторых из них на шляпках и на груди алели розетки.

* Закусочные — с продажей спиртного распивочно и на вынос.

Отряд конной жандармерии прогарцевал по городу, но нигде не встретил никаких признаков возмущения или беспорядков, даже подобия организованной демонстрации.

Праздничная толпа разгуливала по тротуарам, оставляя совершенно свободными перспективы улиц. Никто не проносил речей, нигде не был выкинут дразнящий революционный лозунг. Администрация, полиция, мэр города*, муниципалитет, лидеры радикальных и социалистических партий недоумевали... Теперь, когда...

Тайная агентура сбилась с ног. Очаг всяческой заразы — рыбный квартал — был оцеплен; в каждом кафе, баре, пивной шныряли филеры. Всюду незримо слушало большое настороженное ухо. Бесполезно. Никто не пропагандировал — все беззаботно праздновали.

Ждали выстрелов, воплей, разгрома, баррикад, грабежей; готовились к энергичному отпору; кое-где осторожные торговцы спустили стальные веки на зеркальные витрины — тщетно. К полудню весь город, казалось, праздновал какой-то небывалый праздник. К полудню под яркое, но уже не греющее осеннее солнце выползли любопытные, настороженные буржуа, смешались с плебсом**.

Редактор социалистическо-республиканской газеты — Бурдаль — вышел из опустевшей редакции и остановился на углу двух улиц. Пятилетняя девочка в сиреновом капоре протянула ему красную гвоздику.

— С праздником, m-r Бурдаль, — беря под козырек, приветствовал его знакомый сержант.

Редактор поджал губы, вздернул плечи, но все-таки принял цветок и приколот его к лацкану щегольского свет-ра***.

Все это было по меньшей мере странно, необъяснимо, многозначительно.

Хорошая потасовка, уличная битва значительно разрядила бы сгущенную атмосферу.

* Городской голова.

** Плебс — простой народ.

*** Вязанный жилет.

Но, видимо, никто не собирался драться.

Ванбиккер — рыбный король, похожий на кашалота*, — сидя рядом со своей очаровательной дочерью в глубине беззвучно скользившего вдоль оживленных бульваров лимузина**, нетерпеливо барабанил пальцами по золотому набалдашнику эбеновой трости.

Ввиду всех этих неожиданных обстоятельств, само собой понятно, что никто и не думал о прибывшем три дня тому назад с пароходом «Гельголанд» скромном иностранце, ни в какой мере не замечательном.

С шести часов вечера 6 ноября по сегодняшний день о нем никто не думал, никто не интересовался, — он был предоставлен самому себе. И только в четверть первого его заметил рассыльный из бельевого магазина.

Приезжий шел своей, по-видимому, обычной, спокойной походкой, держа в левой руке баул из непромокаемого, кофейного цвета брезента. Дойдя до первой рекламной тумбы, он остановился, положил баул наземь, раскрыл его, достал кисть, банку с клеем, сверток афиш и методически занялся своим делом.

Рассыльный, которому некуда было спешить, перекусил с одного угла рта в другой папироску, засунул поглубже руки в карманы и подошел ближе. К нему присоединилась торговка с апельсинами.

Через секунду подошли еще две женщины с красными розетками, за ними молодой человек в цилиндре.

Компания увеличивалась. Праздный филер почел своим долгом вмешаться.

Иностранец, покончив с афишкой, обернулся. Все увидели широкоскулое, плохо выбритое лицо под бурой кепкой.

Добродушная улыбка расплзлась по его пухловатым детским губам. Он поднял баул и сделал шаг вперед — его пропустили.

Кто-то громко прочел:

* Морская хищная рыба из породы мелких акул.

** Автомобиль крытый.

СЕГОДНЯ! СЕГОДНЯ!
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ КЛЕМАНСО.
НЕБЫВАЛОЕ, ПОТЯСАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ!
И В А Н К О Р О С Т И Л О Ф Ф,
РУССКИЙ ЭМИГРАНТ, ЖУРНАЛИСТ, ПОЭТ
РАССКАЖЕТ
ПРАВДИВУЮ ИСПОВЕДЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ,
ПОСЛЕ ЧЕГО НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ
ЗАСТРЕЛИТСЯ.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ ЗАЛА ИМ. КЛЕМАНСО
ВСЬ ДЕНЬ.
НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Эффект получился разительный и мгновенный. Обе женщины с красными розетками в петлицах вскрикнули одновременно. Торговка с апельсинами уронила свой лоток. Артельщик из галантерейного магазина кинулся вслед за удаляющимся неизвестным. За артельщиком увязалось еще несколько зевак. Они кричали встречным, приглашая их за собой, махали руками, толкались, обращая на себя все большее внимание. Но приезжий шел обычной, ровной походкой, нисколько не заботясь о том, что происходит за его спиной.

Дойдя до следующего перекрестка, он так же методически, как и в первый раз, приступил к наклейке афиши.

И опять толпа, остановившаяся невдалеке от него, прочла небывалое приглашение на вечер, где некий чудак обещал показать желающим, как он покончит свои расчеты с жизнью. Это казалось настолько необычайным, что филер собрался было свистнуть, чтобы призвать к себе на помощь полицию, но тотчас же раздумал и даже обратился к публике с увещанием оставить преследование скромного малого, принужденного, по всей вероятности, за гроши заниматься таким скучным, утомительным делом, как расклейка афиш, да еще столь нелепых.

— А что касается этого идиота, этого мистификатора, называющего себя русским эмигрантом, но являющегося, вне сомнения, шарлатаном, то его, поверьте, недолго оставят гулять на свободе и морочить публику. Не мешайте же птичке самой впорхнуть в клетку.

Филер умел говорить убедительно, — округлые жесты дополняли его приятную речь.

Нашлись любители, захлопавшие в ладоши. Кое-кто последовал его совету. Но ушедших сменили другие.

Иностранец со своими спутниками, подобно комете, следовал дальше.

— Эй, любезный! — крикнул один гражданин весьма почтенной, респектабельной внешности, остановясь против незнакомца, загораживая ему дорогу и концом палки дотрагиваясь до его плеча. — Не скажешь ли ты нам, каков из себя тот шутник, который поручил тебе пачкать стены своей дурацкой тряпней? Или, может быть, ты его никогда не видел? В таком случае, зачем ты работаешь, когда все празднуют? Покажи нам его, чтобы мы могли проучить этого тунеядца, пользующегося чужим трудом в прогульный день. Мы — честные социалисты... веди нас к нему...

— Да, да, покажи нам этого дурака, — поддержало еще несколько голосов.

Тогда неизвестный остановился, снял кепку, отвесил низкий поклон и с улыбкой во весь свой широкий рот ответил:

— Я весь к вашим услугам, граждане.

— Что такое? — попятившись, забормотал респектабельный социалист.

— Го-го-го! — захохотали в задних рядах. — Это называется — отмочить штучку!

— Молодец, старина, — подхватил здоровенный квадратный матрос, проталкиваясь вперед, как грузовой катер меж лодок, — люблю за сообразительность! Кто бы ты ни был, с тобой невредно выпить по кружке пива. А крахмальным социалистам предоставим возможность произносить речи. Черт возьми, говорить может всякий, а с самоубийцей встречаешься не каждый день.

И, подхватив иностранца под локоть, матрос решительным шагом пошел на респектабельного господина, заставив его отскочить в сторону.

— До приятного свидания в зеркальном зале Клемансо!

Публика покрыла слова матроса восторженными криками, а социалист, пригнувшись, юркнул за соседний угол.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — О ТОМ, ЧЕГО ХОТЕЛА М-ЛЕ ВАНБИККЕР И О ЧЕМ УМАЛЧИВАЛ ЕЕ ОТЕЦ

М-ле Эсфирь Ванбиккер поступала всегда так, как хотела. Это у нее вошло в привычку еще с детских лет.

Теперь ей минуло двадцать, Глядя на себя в зеркало, она неизменно раздражалась. Глубокая тонкая черта залегала у нее между бровей. Она не удовлетворена была своей внешностью, считая, что природа могла бы оказаться щедрее в отношении ее — дочери миллионера. Она уверена была, что все находят ее уродливой, и заранее относилась ко всем враждебно.

В действительности Эсфирь слыла в Марселе одной из самых интересных барышень. Все то, что она в себе так ненавидела — чрезмерную худобу, смуглый цвет кожи, иссиня-черные волосы, темный пушок над резкой гранатовой линией губ, выпуклые, агатовые, остро глядящие глаза, — все вызывало восторг у ее многочисленных поклонников.

Эсфирь считала их дураками и шарлатанами. Их мнение она презирала.

Однажды одному из наиболее ретивых она сказала:

— Во сколько цените вы свое лестное мнение обо мне — так, чтобы, продав его раз и навсегда, больше мне его не предлагать?

Молодой человек, оскорбленный в своих лучших чувствах, предпочел исчезнуть.

Эсфирь относилась с уважением только к отцу. Она часто повторяла с некоторым вызовом:

— Мой отец нашел свое состояние там, где другие теря-

ли жизнь. Для этого нужна не только смелость, но и ум. Напрасно думают, что более доблестно умирать за свою страну, чем жить для ее процветания. Можно благословлять родину за то, что она дает, а не за то, что она отнимает. Вот почему лучшие патриоты далеко не те, которые подставляли свои головы под пули, — не они ли мечтают о революциях?

Мать свою Эсфирь не помнила, лишившись ее с трех лет. Отец, обожавший дочь, все же не мог уделять ей много времени. Девочка росла одиноко, развивалась самостоятельно, училась урывками, бессистемно. Когда ей пошел одиннадцатый год, началась война. Раненые вызывали в ней не жалость, а отвращение.

— Зачем только они калечат друг друга? — спрашивала она у гувернантки. — Сначала режут, а потом лечат... Я бы никогда не согласилась.

— Это долг каждого честного гражданина, — отвечала непоколебимая англичанка, презрительно поджимая узкие губы.

— Я никогда не слыхала, что глупость называют долгом, — в тон ей возражала Эсфирь.

Они терпеть не могли друг друга.

Когда кончилась война, Эсфирь решила путешествовать. Она побывала во всех странах Антанты и в Америке. Она нашла, что жизнь везде однообразна, люди глупы и мелочны, а деньги, властвуя над всеми, бессильны перед скукой. Она начала нюхать кокаин, танцевать джимми и писать роман. Но вскоре и это ей надоело. Тогда она занялась политикой. Стала изучать политическую экономию и увлеклась фашизмом.

В эту пору приехал из Японии старший брат ее отца — когда-то крупный русский финансист. Он бежал из России вскоре после февральской революции.

Его петербургский особняк на одиннадцатой линии Васильевского острова заняли анархисты. Драгоценности он успел вынуть из сейфов заблаговременно.

Несколько русских эмигрантов, закинутых в Марсель, составили новое общество, собравшееся вокруг m-lle Ванбик-

кер и ее дяди. Отец Эсфири, — занятый крупными спекуляциями, владелец акций колониальных железных дорог, рыбный король, — держался несколько в стороне от них.

Россия! Россия! В конце концов, эта страна так далека от Франции. Что ему в ней? Он ничего не имел общего с нею, все его интересы шли в стороне от нее... а потому — репарации... пусть мечтают о них другие. Последнее время в свите Эсфири состоял один лейтенант русского флота — Самойлов. Он прибыл в Марсель после врангелевского поражения в качестве командира транспорта. Судно вскоре было продано Франции. Тогда лейтенант прикомандировался к русской миссии временного правительства, мечтая о реванше и богатой невесте. И то, и другое заставляло себя долго ждать. Самойлов проживал последнее.

В тот день, когда по улицам города были расклеены эксцентричные афиши Коростылева, лейтенант обедал у Ванбиккер. Было еще несколько приглашенных. Все говорили о забастовке и русском чуде.

— Я бы не допуская этого скандала, — заметил Самойлов раздраженно. — В конечном счете, самый факт того, что русский эмигрант, доведенный до отчаяния, должен стреляться, говорит не в пользу Антанты. Вот вам результаты политики полумер.

— Мой лейтенант, — возразил хозяин дома, — мы не можем впутываться в новые авантюры. Мы должны думать о собственном благосостоянии.

— Но согласитесь, пока большевики у власти, никто не поручится, что и во Франции... — все больше волнуясь, отвечал Самойлов. — Сегодняшняя забастовка...

— Вздорный эпизод, о котором не стоит говорить, — хладнокровно возразил Ванбиккер, — случайное недоразумение, если принять во внимание новый курс государственной политики.

Эсфирь добавила, точно желая подразнить лейтенанта:

— Еще менее чести делает этот случай соотечественникам чудака, находящимся в Марселе. Но мне нисколько его не жаль. Интересно только, как он это сделает. Во всяком случае, не каждый сумеет так оригинально кончить свою

жизнь. Я хочу познакомиться с ним.

— Как видно, m-lle, вас интересуют только покойники, — не без яда ввернул лейтенант.

— Они так же неинтересны, как и живые, но зато менее притязательны, — тотчас же ответила Эсфирь.

Генерал Бурдон, — командир отдельного корпуса жан-дармов, еще красивый мужчина, уезжающий сегодня вечером в Париж по вызову министерства, — улыбаясь пикирующей молодежи, заговорил о Париже, в котором он провел свою молодость. По его мнению, столица сильно изменилась за время войны.

Он не находил в ней больше прежнего очарования.

— Эти дансинги, где танцует каждый, кому не лень... Буа де Булонь — куда нельзя поехать с приличной дамой... А теперь, когда у нас социалистический кабинет...

Ванбиккер, собиравшийся с дочерью в Париж на другой день вслед за генералом, был несколько иного мнения.

Конечно, социалистическое министерство ничего хорошего не сулило, кроме пустой болтовни, но, с другой стороны...

Ванбиккер говорил мало, но когда говорил, никто не был уверен в том, что говорит он именно то, что думает. Этот массивный, тушеобразный человек, «кашалот», как его называли за глаза, весь погружен был в свои дела. Его голова, как и его бумажник, туго была набита всевозможными соображениями, сложными выкладками, грандиозными проектами, чрезвычайными замыслами. Он ничего не записывал у себя в блокноте, он помнил все до мельчайших подробностей, — так была устроена эта квадратная, кирпичная голова.

Конечно, социалисты никуда не годились, но если взяться хорошенько, если пощупать их с той или иной стороны, можно было обернуть их вокруг пальца. В общем, умному человеку всякий ветер дует на его мельницу.

Теперь Ванбиккер думал о Марокко и Тунисе. Последние недели Африка весьма занимала его воображение. Даже сегодня у него обедал один офицер колониальных войск, капитан дисциплинарного батальона Лебланш; Ванбиккер

угрюмо разглядывал этого капитана, сидящего на другом конце стола.

— Скажите, капитан, вы только что из Африки?

Все оглянулись на хозяина. В самый разгар разговора о Париже вопрос показался странным.

— Точно так, m-г, — отвечал офицер, наклоняя голову.

В своей глуши он отвык от людей, от светского обращения, чувствовал себя неловко, краснел, оглядывался на генерала, отвечал по-солдатски. Он и сам не знал, почему его позвали обедать в этот дом, где все были ему чужими. Ванбиккера капитан видел лишь второй раз. Но у миллионов свои фантазии.

— А по окончании вашего отпуска вы снова возвратитесь в Африку?

Эти вопросы Лебланшу казались непозволительно наивными, но все же он отвечал, как при докладе:

— Так точно. Опять в дисциплинарный батальон.

— Какая это глушь, Африка, — протянул хозяин неопределенно.

— Ваша служба, кажется, очень тяжела, — позволил себе заметить младший Ванбиккер.

Этот эмигрант, в противоположность своему старшему брату, был очень подвижен и болтлив. Он не забывал подливать вино себе и своей соседке — жене мэра. Брильянт в четыре карата сверкал на его коротком мизинце.

— Я читал кое-что, — продолжал он, — все они политические воры и убийцы...

Капитан сидел красный, как гранат, усы его топорщились от волнения.

— Простите, m-г, — отвечал он, — но в дисциплинарных батальонах африканской ссылки, где служу я, нет ни воров, ни убийц.

— Позвольте, — облизывая губы, протянул младший Ванбиккер, — еще на днях я читал в одной газете... Там даже их почему-то называют «телячьи головы». Да-да, теперь вспомнил. Статья называлась «Очередной бунт телячьих голов».

Эсфирь повторила со смехом:

— Телячьи головы? Это забавно. Уж не потому ли их

называют так, что надо иметь телячью голову, чтобы попасть в дисциплинарный батальон?

Капитан ответил растерянно:

— Их называют так, потому что они бритые.

— А вы их, кажется, защищаете?

Искры смеха все еще бегали в выпуклых глазах Эсфири.

— Я только хочу сказать, — виновато торопясь, возразил Лебланш, — что нигде, даже во Франции, не знают о том, что делается в Африке.

— Однако...

Генерал поднял брови. Его заинтересовал этот молодой человек, мешком сидевший на стуле. Генерал вскинул холеный бритый подбородок. Аксельбант заколебался, блеснув на его высокой груди.

— Позвольте...

— Точно так, — захлебываясь от усердия, напирая на стол, потянув к себе скатерть, объяснял капитан. — Обычно смешивают политическую ссылку и военные дисциплинарные батальоны с исправительными батальонами общественных работ для уголовных.

— Вот видите, как легко впасть в ошибку, — неожиданно произнес хозяин.

Лицо его по-прежнему ничего не выражало, глаза ушли в себя, занятые сложными вычислениями.

— Так за какие же преступления ссылают солдат в Африку? — спросил заинтересованный Самойлов.

Он продолжал мстить m-lle Ванбиккер.

— За кражу у товарища, по всей вероятности, — высказал предположение младший Ванбиккер, очищая грушу. Лицо его сияло от удовольствия.

— Никак нет, m-r, — упорствовал капитан, обливаясь потом, — воров ссылают в исправительные.

Он сам чувствовал, что его реплики заводят его в дебри, но остановиться не мог. С какой радостью он очутился бы сейчас в каком-нибудь кабаке за кружкой пива. Черт дернул его принять приглашение.

— Но какое же преступление совершают ваши телячьи

головы?

Право, это становилось забавным. Все лица, улыбаясь, смотрели на капитана. Что-то он еще скажет?

Капитан шел на приступ. Узкий воротник размяк, глаза слепли. Он выкрикнул, точно перед ним был целый неприятельский батальон:

— Никакого.

— Что?

— Это уже слишком!

— Господин капитан, попросил бы вас...

Генерал еще выше вскинул подбородок. Только старик Ванбиккер оставался неподвижным.

— Что вы говорите, капитан? Ведь провинились же они против дисциплины, — внезапно возбуждаясь, закричал младший Ванбиккер.

— Их судит военный суд, — отвечал генерал.

— Их судит полковой суд, из нескольких офицеров, часто тех самых, которые наложили уже взыскание на осужденных солдат.

Капитана нельзя было остановить. Он сам не мог бы остановиться, даже если бы захотел.

— Значит, наказывают солдата за то, что он уже был наказан?

— Точно так. Процедура быстра. Отбыв сто двадцать суток в разное время, солдат может быть сослан в Африку.

— Да за что же?

— За непочтительный жест, за потерянную грошовую сумку, за самовольную отлучку из казармы или за то, что дежурный врач не признал его больным, когда он заявлял о болезни.

— Вы преувеличиваете!

Младший Ванбиккер даже перестал есть свою грушу.

Капитан готов был присягнуть, что он ни на йоту не отступил от истины. Генерал, играя аксельбантом, сказал тоном, не допускающим возражений:

— Во всяком случае, они лучшего и не стоят. У вас расстроены нервы, мой капитан. Эти бунтовщики имели счастье служить во французской армии и должны были гор-

диться этим.

Все смолкли, подавленные генеральской сентенцией, но внезапно хозяин прервал молчание.

— Ну да, конечно, теперь я понимаю, почему они бегают. Реформы... Так, так...

Он не закончил своей мысли, вернее, не договорил ее, по своему обыкновению. Гости смущенно улыбались.

Ванбиккер тяжело поднялся. Остальные последовали его примеру. Миллионер грузными шагами подошел к капитану, и, беря его под руку, повел в кабинет.

— Мы выкурим с вами по сигаре, — сказал он, смутив капитана этими милостивыми словами еще больше.

— Прошу вас, господа.

Когда все вышли из столовой, m-lle Ванбиккер отвела Самойлова в сторону и, глядя на него в упор, с тем выражением раздражения, надменности и презрения, которые так часто появлялись на ее лице, когда ей приходилось говорить со своими поклонниками, она сказала:

— Он должен остаться жив.

— Простите, я не понимаю...

— Напрасно. Я говорю очень ясно совершенно простые слова. Он должен жить. Это ваша обязанность. Такой человек может быть нужен вашему делу.

— Но согласитесь, m-lle, что я бессилен. Если даже власти ничего не имеют против и допускают...

Черный пушок над губой Эсфири задвигался — это не предвещало ничего хорошего.

— Ваши возражения оставьте при себе, — сказала девушка, — иначе...

Все было ясно без слов.

M-lle Ванбиккер умела хотеть и умела заставлять других делать то, что она хотела.

ГЛАВА ПЯТАЯ — ГДЕ ЗАКОНЫ ЦЕРКВИ, МОРАЛИ И ГУМАННОСТИ НАХОДЯТ СЕБЕ ДОСТОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

К пяти часам дня весь город был оповещен о небывалом вечере, устраиваемом русским эмигрантом. Десятки бравых матросов, приятелей матроса, подошедшего первым к приезжему, а за ними добрая дюжина свободных от работы грузчиков с песнями, свистом расклеили по всем тумбам вдоль всех авеню, бульваров и улиц афиши иностранца, разнесли их по всем блестящим кафе, ресторанам и клубам, разбросали в каждый встречный автомобиль.

Члены муниципалитета, стоя на балконе городской ратуши и глядя сверху на веселую праздничную толпу, повторяющую имя Коростылева, только пожимали плечами.

— Я никогда еще не видал более веселых проводов на тот свет, — заметил один из них. — Можно подумать, что работы приостановились только благодаря тому, что какому-то русскому шарлатану вздумалось пустить себе пулю в лоб.

— Во всяком случае, все это более чем странно, — вставил свое мнение другой. — Я, конечно, нисколько не связываю сегодняшнюю забастовку с оповещенным вечером; но все же полагал бы необходимым принять меры к недопущению безобразия...

— Уважаемый коллега, — перебил его третий, маленький горбатенький человек с огромным парафиновым носом, — ничуть не разделяю ваших опасений. По имеющимся у меня сведениям, забастовка продлится только один день. У меня нет еще точных данных о ее причине, так как до сих пор не предъявлено со стороны портовых рабочих никаких требований, но что касается русского эмигранта, то смею вас уверить, он ни в какой мере не связан с этой забастовкой. Он сам по себе. Это даже не шарлатан, если хотите знать. Это один из тех наших друзей, бежавших из России, которых мы поддерживаем... и будем поддерживать, сколько позволяют нам обстоятельства... характера... Ну, вы сами понимаете, какого характера.

— Конечно, мы понимаем, — подхватило несколько голосов сразу.

— И я не вижу причины, — продолжал горбатый, — почему бы нам следовало помешать привести в исполнение его законное намерение. Он — одинок, бесприютен, может быть, голоден, — так пусть же стреляется, пусть стреляется, говорю я. Полагаю, никто от этого не пострадает.

— Но, если не ошибаюсь, — законы церкви, морали, гуманности... словом, нельзя ли было бы помочь, то есть, я хочу сказать... — начал было чей-то робкий голос.

— Оставьте, — перебил его тотчас же горбатый, — кто может заподозрить нас в том, что мы преступили когда-нибудь законы церкви, морали или гуманности? Но, господа, вместе с тем, кто посмеет сказать нам, что мы нетерпимы в вопросах веры и совести каждого гражданина, иначе мыслящего? Что мы стесняем его личную свободу, что мы навязываем ему свою мораль и негуманны к страждущему, пожелавшему прекратить свои страдания. Нет, этого никто сказать не может!

— Безусловно! — подтвердили остальные.

— Но, господа, — повышая голос, продолжал горбатый и поднял палец в уровень своего парафинового носа, — мы не допустим, вместе с тем, ничего такого, чтобы могло ввести в соблазн. Мы не допустим ни малейшего шантажа или обмана, ни малейшей мистификации, нарушающих права наших граждан. Каждый должен получить то, что ему обещано за его деньги. И эмигрант будет арестован тотчас же и привлечен к суду, как мошенник, если не исполнит принятых на себя обязательств, — ибо для нас священны законы собственности и права наших граждан.

— Неоспоримо, — согласились остальные.

— К тому же, наши новые друзья...

Но горбуну не удалось закончить свою мысль. В ту же минуту к мэрии подъехал бесшумно лимузин Ванбиккера.

Миллиардер сошел на тротуар под веселые крики толпы.

Здоровенный квадратный матрос преградил ему дорогу. Он стоял об руку со своим новым приятелем-иностранцем.

— Ваше сиятельство, — крикнул он, — вы и ваша восхитительная дочь должны купить ложу на сегодняшний вечер, устраиваемый этим маркизом, решившим всенародно расквитаться с жизнью.

Ванбиккер оскалил золотую челюсть.

Ванбиккер спросил, улыбаясь тускло:

— Зачем же в таком случае гранду нужны деньги?

Матрос ответил с низким поклоном:

— О, милорд. Отчаявшись получить их на хлеб, он обольщает себя надеждой заработать на похороны.

Веселые ребята, стоящие рядом, зааплодировали.

— Я куплю ложу, — твердо сказал Ванбиккер.

ГЛАВА ШЕСТАЯ — О СИГАРЕ И ВЫСШЕЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В десять часов вечера Флипотт вошла к Виньело в комнату. Сегодня она принесла сигару, завернутую в серебряную бумагу, где по красному полю золотыми буквами было написано: «Non plus ultra».

Она не знала, хороша или нет эта сигара, но ей доставляло удовольствие приносить ему маленькие подарочки, так, какие-нибудь пустяки, — цветок, грушу или конфеты.

Ей нужен был предлог, чтобы прийти к нему в его комнату, всю заваленную рисунками, в мастерскую художника.

Когда у нее было что-нибудь в руках, она свободно входила, говоря:

— Вот, Этьен, я принесла тебе это.

Он едва поводит плечами, не подымая головы, отвечал:

— Хорошо, положи там, — и продолжал работу, потому что всегда был занят, всегда исполнял какой-нибудь срочный заказ.

Тогда Флипотт садилась на оттоманку в тень, подбирала под себя ноги, свертывалась калачиком и, положив голову на ладони, издали смотрела на своего любовника.

У него твердый, мужественный профиль. Он ей очень нравится. Этьен настоящий мужчина, *un tres brave homme*; у него, конечно, свои странности, как у всякого мужчины, но все-таки его нельзя сравнить с другими. В его лице — что-то дикое. Да, да — что-то, напоминающее Тарзана, которого с таким увлечением читала Флипотт. Но у него мягкие, как лен, волосы и очень добрая улыбка...

Сидя так в уголку дивана, Флипотт думала обо всем понемногу, и ей было хорошо. Ноги приятно млели после танцев, млело сердце...

Сегодня то же, что и вчера. Только сегодня она принесла ему сигару. Как он примет этот подарок?

— Ну, вот и готово, — наконец, сказал Этьен, отодвигая стул.

Он вытянулся, подымая руки вверх, точно хотел достать потолок.

— Я славно поработал сегодня и хочу чаю; ты не думаешь, Флипотт, что было бы недурно промочить глотку стаканом горячего чая?

— Да, конечно, Этьен, я сейчас позабочусь об этом.

Она достает спиртовку, чайник, сахарницу и мешочек с сухарями, расстилает на столе перед диваном салфетку.

Вода в чайнике начинает шипеть и булькать, синее пламя виляет из стороны в сторону, — в комнате становится еще веселее и уютнее. Этьен ходит из угла в угол и свистит. Он высвистывает какую-то старую песенку родной своей Фландрии, широко шагает и руки держит за спиной, при этом лицо его выражает полное удовлетворение.

Если Флипотт приносила ему цветок, то он втыкал его в петлицу своей оливковой рабочей блузы и то и дело, наклоня голову, нюхал его. Если же она приносила грушу или конфеты, то он оставлял их к чаю, но за подарок благодарил всегда после, лежа в кровати. У него на все своя манера. К нему нужно привыкнуть, иначе составишь о нем превратное мнение. Так, например, он никогда не здоровался, когда к нему входили в комнату... Очень часто он разговаривал громко сам с собой, хохотал, размахивая руками, потом снова принимался за работу. Работал он не отрываясь,

иногда днями напролет, иногда же уходил бродить по городу из кафе в кафе, из притона в притон, из дансинга в дансинг, знакомился то с теми, то с другими без разбора, пропадавал целые сутки и возвращался домой с целым ворохом зарисовок, с целым хороводом пляшущих, куда-то мчащихся уродцев. Он говорил, что по Парижу можно путешествовать дольше и с большим удовольствием, чем вокруг света, потому что всегда найдешь в нем что-нибудь новое и поучительное.

— Нет, — кричал он, энергичным жестом тыкая то в один, то в другой рисунок, — ты посмотри только на это, Флипотт! Они еще смеют рассуждать о красоте! Они еще смеют любить! Посмотри, посмотри — какие дряблые груди, какие складчатые животы, какие тяжелые, неповоротливые седалища у этих самок. Какие бессильные ревматические ноги, какие искривленные позвонки, какие тупые лбы у этих самцов. Вот они танцуют — вот эта пара. Они прижались друг к другу, они оскалили зубы — как мерзки их объятия!

— Но ведь никто не танцует голым, — возражала Флипотт, — ее эстетическое чувство было возмущено.

— Да, они не танцуют полыми, — перебивал ее Этьен, — потому что, если бы они отважились это сделать, их самих вырвало бы от отвращения. Но я-то, я-то их вижу! Ведь они таковы. Все, все до одного! Несмотря на пудру, грим, духи, от них разит трупом. Это отвратительное стадо нужно гнать в море. Слышишь ты? Гнать плетью! А ты посмотри на их детей...

Он хватал новую папку и опять тыкал пальцем то в тот, то в другой рисунок. Но Флипотт окончательно отказывалась смотреть на это.

— Все дети — маленькие ангелы, — говорила она. — Это очень жестоко с твоей стороны, что ты изображаешь их в таком виде.

У нее даже появлялись слезы.

— Но пойми же, я очень люблю детей, — возражал художник, — и именно потому, что люблю их, мне хочется показать людям, что они с ними делают...

— Нет, нет и нет, — затыкая уши, говорила Флипотт, —

я не хочу слушать...

— Ты дура, — решал Этьен и спокойно прятал рисунки, — ты, как все самки, ничего не понимаешь.

Она предпочитала его иллюстрации к произведениям писателей. Правда, они тоже были несколько необычны, и очень часто Этьен, ругаясь, должен был их переделывать, чтобы угодить издателю, но там все-таки изображались обыкновенные, приличные люди в приличных, даже элегантных костюмах.

— Черт возьми, эти издатели плохо понимают наше ремесло, — ворчал Этьен, «зализывая» какой-нибудь из своих растрепанных рисунков, — они никогда не угадают, какому художнику дать того или иного автора — а в этом все дело. Мы должны дополнять друг друга, слиться в одно целое так, чтобы по рисункам можно было угадать автора рассказа. Мне хотелось бы иллюстрировать Диккенса или Стендаля или русского Гоголя, а мне дают Поля Бурже и Марсея Прево, от которых меня тошнит.

Флиппотт на это не возражала, хотя она с увлечением читала Прево, но, по правде говоря, она думала, что это такие пустяки, на которые не стоит обращать внимания: издатели покупают рисунки и платят хорошие деньги. Этьен имеет свои причуды — тут ничего не поделаешь...

Она до сих пор не могла вспомнить без улыбки то, как она познакомилась с Этьеном. Она шла по бульвару Севастополь, когда на нее наскочил господин в черной широкополой шляпе, наскочил в полном смысле этого слова и начал говорить с необычайным воодушевлением:

— Конечно, это Мари Роже, зверски убитая Мари Роже из рассказа Эдгара По, идущая теперь преспокойно по бульвару — это ее ноги, ее руки, ее лицо. Мне только этого и не хватало!

Он говорил так быстро, что трудно было понять, чего он хочет. И только пройдя несколько шагов с ней, он, наконец, остановился и представился:

— Этьен Виньело — художник.

А Мари Роже оказалась героиней какого-то американского поэта, которого иллюстрировал Этьен.

Но Флипотт совсем не пришлось по сердцу сравнение с какой-то убитой Мари Роже, — она была мнительна, как все танцовщицы из табарена*. Нет, лучше всего походить на саму себя, сидеть тихо в своем уголку и ждать, когда закипит чайник. Ах, если б можно было чаще приходить сюда или даже совсем остаться здесь...

— Ты, кажется, принесла мне что-то? — наконец, спросил Этьен.

Сегодня он был особенно не в духе.

— Порнография, — бормотал он, расхаживая по комнате, — порнография... Они называют это порнографией. Они шокированы, черт бы их побрал вместе с их законами и правосудием! Они не знают, что такое публичный дом. Они наивны, помилуй бог! Им подавай идиллию. А этот прокурор — явно выраженный импотент с алебастровым лбом — он весь кипел от негодования. О, с каким бы удовольствием я устроил бы им всем баню, хорошую баню с маленьким кровопусканием.

Этьен потрясал кулаками и скалил свои лошадиные зубы. Потом внезапно:

— Ты принесла мне что-то?

— Да, я принесла тебе сигару...

Она смутилась, говоря это, но постаралась ответить спокойно и не отводить глаз в сторону. Ведь только сигару могла она принести сегодня.

— Сигару?

Он взял подарок в руки, разглядывал его со всех сторон, понюхал и прочел бандерольку.

— Это хорошая сигара, — наконец, произнес он, кладя ее на место, — я оставлю ее до завтра и выкурю после обеда... А теперь пить чай... Будем надеяться, что высшая справедливость восторжествует без нашей помощи, не так ли?

Флипотт покорно налила ему стакан, себе чашку. Они сели рядом и молча стали прихлебывать горячую жидкость.

* Табарен — ночной кабачок.

«Почему он вспомнил о высшей справедливости, — думает она, — что он хотел сказать этим?» — Потом встает и стелит на диване постель.

— Тебе опять придется лгать своей матери, — говорит Этьен, снимая ботинки.

— Да, я скажу, что осталась ночевать у подруги.

— У Прево все его легкомысленные героини говорят это на каждой странице, — придумай что-нибудь оригинальнее, если ты хочешь мне нравиться.

Он ложится с ней рядом и целует ее в губы.

— Это за сигару, — говорит он.

И она задыхается от любви и счастья.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ — О ВЕСЕЛОМ САМОУБИЙЦЕ

— M-mes et m-rs! Я потрясен, я подавлен, я не нахожу слов, чтобы выразить все то волнение, которое почувствовал при взгляде на многолюдное блестящее общество, почтившее меня своим присутствием, пожелавшее удостоверить смерть столь незначительного существа, во всю свою жизнь не встречавшего к себе и сотой доли выпавшего ему сегодня внимания. Я растроган до глубины души.

Так начал свою речь Коростылев, стоя перед кафедрой в Зеркальном зале имени Клемансо, вмещавшей в себя до двух тысяч зрителей.

Чудак не преувеличивал. Все, что было блестящего, родовитого, чиновного в городе, — все собралось в этот вечер ради него. Блеск бриллиантов, оголенных плеч и лысин едва ли уступал блеску хрустальных люстр, многократно отраженных в зеркальных стенах. Сотни биноклей, лорнетов, очков, скрывая плотоядное любопытство и нетерпение, направлены были в ту сторону, где стоял широкоплечий, приземистый человек в дорожном сером костюме, в запыленных крагах, с добродушно улыбающимся скуластым лицом.

Тысячи рук приветствовали его плеском. Никогда еще никому не приходилось видеть столь счастливого самоубий-

цу. Более экспансивные бросали в него цветы.

Коростылев нагнулся, поднял алую розу, кинутую ему из ложи Ванбиккера чьей-то тонкой рукой, и продел ее в петлицу.

— *M-mes et m-rs!* — заговорил он снова. — Если только там, куда через час, а может быть, и раньше — я чувствую ваше нетерпение и не стану злоупотреблять им... Итак, говорю я, если там, куда унесется моя душа, она не потеряет способности чувствовать и помнить, — сегодняшний вечер, этот короткий миг моей жизни, запечатлится в ней навсегда, как самый счастливый. Я — жалкий изгнанник из своей страны, всесветный бродяга, не находящий себе нигде приюта, парий* — могу сказать перед лицом смерти, что люди, среди которых мне пришлось умереть, прекрасны, великодушны, высоки. Все они, как только я оповестил их о часе моей кончины, пришли ко мне, чтобы смежить мои веки. С благодарности начинаю я свою исповедь, с той же признательностью я бестрепетно и навсегда прерву ее револьверным выстрелом.

Чудак замолк на время, отирая платком вспотевший лоб. Зрительницы задохнулись от сдерживаемого волнения.

— Я русский, благородные граждане, — вскричал он, — я рожден в стране, где царствует кровавый большевизм, где ежеминутно проливается кровь, где дети убивают отцов, где голод и мор празднуют победу. Я родился в честной семье, я воспитывался в уважении к старшим, в любви к родине, в почтении ко всему, что поддерживает порядок, законность и веру. Я был добрым христианином. И в великую войну я, наравне с другими юношами своей страны, пошел проливать кровь. Я верен был долгу, верен был союзникам, верен был вам, прекрасные дамы и благородные кавалеры...

Бурные, рокошующие аплодисменты всего зала на время прервали речь Коростылева, но он с еще большим воодушевлением продолжал:

* Отверженный.

— Да, я знал, что такое долг, что такое верность, что такое присяга. Я чтил эти святыни, как чтите их вы. И когда началась у нас революция — я не изменил им. Но судьба судила иное. Тяжкие испытания постигли мою родину, в то время когда вы, леди и джентльмены, ликовали, празднуя блестящую победу. Но я не сдавался, я шел против лавины, и она задавила меня. Последние остатки нашей доблестной когда-то армии эвакуировались. Нужда и лишения угнетали нас, но пока вера жила в наших душах — мы боролись. Я жил в концентрационном лагере под Салониками, я служил лакеем в Константинополе, я продавал газеты в Праге, я таскал тяжести в Киле, я собирал виноград в Испании, я малярничал в Париже, я умирал с голоду в Берлине, но все же жил, потому что верил. Никому не было дела до меня, но я жил, потому что верил, что настанет час. А теперь, когда столько почтенных граждан заинтересовано в моей судьбе — я говорю «довольно». Потому что у меня нет веры, потому что Россия живет без меня, потому что Советы празднуют седьмую годовщину, и никто не поручится мне, что они не станут праздновать пятидесятилетия. Вот почему сейчас я бестрепетно подымаю руку, прикладывая дуло к виску и...

Сдержанный крик пронесся по залу, лица испуганно и жадно вытянулись, дамские руки зажали уши, и только один голос, прозвучавший особенно резко в наступившей колодезной тишине, голос Ванбиккера произнес отчетливо:

— Ерунда.

Широкая улыбка тотчас же растянула губы самоубийцы. Он опустил руку с револьвером и заговорил снова:

— Виноват, мне почудилось, что кто-то сказал «ерунда». Не есть ли это знак сомнения? Не есть ли это знак надежды для меня? Быть может, m-г имеет основание полагать, что Советы не доживут до своего пятидесятилетнего юбилея? О, в таком случае у меня достало бы силы ждать еще...

Но чей-то решительный, зычный бас перебил оратора:

— Да стреляйтесь, черт вас возьми совсем!

А другой теноровый подхватил:

— Бьюсь об заклад, Матюрен, что он трусит. Он идет на

попятные и сейчас запросит пардону.

— Ну нет, это ему не удастся, — снова ввернул бас, — и это так же верно, как то, что я Леон Мари!

— Если он еще станет медлить, мои нервы не выдержат, — откликнулся басу с другого конца залы чей-то дребезжащий сопрано.

Но тут один щеголь из первого ряда пружиной вскочил с места и почти завизжал, выкинув из глаза монокль:

— Тише, тише, тише!.. Сейчас он будет стреляться! Он должен стреляться. Он не может не стреляться!

Сдержанное гудение всего зала резонировало ему.

— О, великодушные граждане и прелестные гражданки, — тотчас же подхватил Коростылев, прижимая руку к сердцу, как оперный певец, отвечающий на приветствия, — я нисколько не собирался обмануть ваши ожидания. Это отнюдь не входит в мои расчеты. Конечно, я буду, я должен, я не могу не стреляться. Потому что никто из вас, даже джентльмен, сказавший «ерунда», не разубедит меня в том, что Россия потеряна мною навеки. Вот почему я выбрал именно сегодняшний день для того, чтобы проститься с вами. И, надеюсь, что он навсегда останется у вас в памяти.

— Ладно! — снова крикнул кто-то из средних рядов, — я поставлю в календаре на сегодняшнем числе большой крест, чтобы отметить твою кончину.

— И это будет самое остроумное, что можно придумать, — отвечал хладнокровно самоубийца, — только прошу вас — не перепутайте числа. Если не ошибаюсь, сегодня...

Но его перебили с разных сторон:

— Будет!

— Довольно!

— Знаем и без тебя!

— А ну-ка, решайтесь!

Рука с револьвером снова поднялась к виску, снова дамы, взвизгнув, заткнули пальцами уши, мужчины плотнее уселись в кресла и, застыв, открыли рты. Но в то же мгновение чья-то другая рука опустилась на руку Коростылева. Чья-то темная фигура в крылатке выступила вперед.

— Именем закона, вы арестованы, — произнесла она.

Неистовый, оглушительный вой, свист, треск ломаных стульев тотчас же прокатился по залу. Сотни рук, сжав кулаки, потрясли густой воздух, десятки фраков ринулось на эстраду. Но безмолвные полицейские выросли на их пути.

— Это грабеж! — вопил хор разъяренных голосов.

— Это шантаж!

— Мы требуем деньги обратно!

— Он должен стреляться!

— Кто смеет помешать нам досмотреть до конца!

И ни один голос не поднялся в защиту неудачливой самоубийцы.

Садясь в автомобиль рядом со своей дочерью, Ванбиккер процедил сквозь зубы:

— Я всегда говорил, что русским помогать нельзя. Они непременно надуют.

— Но среди них есть исключения, — отвечала Эсфирь, глядя на подходящего Самойлова. — Браво, господин лейтенант! Тот, кто умеет исполнять приказания, тот умеет и приказывать... Я готова вас выслушать...

— Но, m-lle, к сожалению, я оказался бессильным... Я в отчаянии... все произошло...

— Как нельзя более лучше, — перебила его m-lle Ванбиккер. — Жду вас завтра с подробным докладом, после чего мы поищем способ освободить этого чудака... Покойной ночи.

Мотор заработал, зеркальная дверка залила матовым блеском миллионера и его дочь. Лейтенант растерянно провожал их взглядом, полным недоумения.

А за несколько километров впереди лимузина Ванбиккера мчался другой автомобиль. В нем сидели за спущенными шторами — русский эмигрант Коростылев, арестовавший его агент и два жандарма.

В полном молчании они проехали десять кварталов вдоль Центрального бульвара, свернули два раза в боковые улицы и остановились.

Из каретки выскочил человек среднего роста, сутуловатый, в круглых очках и с русой американской бородкой.

Протянув руку в черную глубину, где сидели его спут-

ники, и пожимая невидимые ладони, он произнес отчетливой, резкой скороговоркой, изобличающей в нем иностранца:

— Прощайте, товарищи.

— Счастливого пути, товарищ, — отвечал сдержанный голос из темноты.

Раскатистый смех прервал эти слова.

— Черт возьми, — вскричал бравый просоленный голос, привыкший бороться с воем норд-оста, — они-таки поставили большой крест себе и своим присным на могилу в день седьмого ноября, придя смотреть, как будет стреляться их приятель, русский эмигрант Коростылев!

Автомобиль загудел, готовый тронуться; человек, стоящий у дверцы, махнул рукой, надвинул глубже на лоб кепку и ровным, уверенным шагом направился через площадь к мигающему огнями вокзалу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ — О ТАИНСТВЕННЫХ ТЕЛЕГРАММАХ И НЕОБЫЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В ту же минуту Жанина Нуазье приподнялась на локте и прислушалась.

Часы из гостиной донесли до нее одиннадцать медленных, глухих ударов. Затем все стихло.

Жанина спустила ноги на ковер, не зажигая электричества, ощупью, таясь и вздрагивая внутренней дрожью, поспешно начала одеваться. Потом, держа в руках туфли, но уже в мантию и шляпку, на цыпочках прошла столовую и гостиную мимо кабинета. На мгновение она остановилась с сильно бьющимся сердцем против двери. Сквозь щель от неплотно прикрытой створки проникал свет.

Прищурясь, Жанина увидела край письменного стола, лампу под зеленым абажуром и склоненный профиль мужа — высокий лоб, седые брови, резкие черты у губ — бритый профиль Цезаря, каким его изображают на медалях.

Он весь ушел в свою работу. Ничего не мог услышать,

даже если б вошли к нему в комнату. Когда-то Жанина благоговела перед этой мудрой, строгой старостью. Сейчас она чувствовала к нему дочернюю нежность, но не понимала его. Их разлучили, отъединили духовно годы войны. Как мог он спокойно, нисколько не изменив течения своей работы, взирать на то, что происходило вокруг, из-за своих пирамид, из-за навсегда похороненной культуры Египта не замечать всего ужаса, всего страдания, напивавших человечество?

Все такой же прямой, строгий, самоуглубленный, он, как и в былые мирные годы, ежедневно в четыре часа прогуливался по набережной Сены, останавливался у ларей букинистов, приблизив к своим уставшим, бледным глазам томик, пахнувший ванилью и ладаном, перелистывал страницы, в то время как мимо него провозили раненых.

И сейчас он остался тем же.

М-ме Нуазье отошла от двери успокоенной. Что бы с ней ни случилось — муж не оставит своих занятий. Это придавало ей решимости, которой ей так не хватало последние дни. Нужно действовать самостоятельно.

Бесшумно открыв английским ключом дверь на лестницу, она спустилась вниз, никем не замеченная.

Потертый такси, зафыркав, затряс ее по бульвару Сен-Мишель к Обсерватории, и через пятнадцать минут Жанина была уже в другом конце города в кривом темном переулке, на всем протяжении которого не видно было ни живой души.

Она расплатилась с шофером и быстрыми шагами, стараясь держаться в тени и не очень стучать каблуками по изъеденным плитам узкого тротуара, миновала ряд домов с глухо запертыми ставнями и постучала в низкую дверь одного из каменных ящиков. Ей пришлось дожидаться довольно долго.

Скрипучий женский голос спросил:

— Кто там?

— Эскарго, — ответила Жанина.

Ее пропустили в темный, узкий коридор с запахом отсыревшего дыма.

— Идите, я запру за вами, — прохрипел тот же голос.

Жанина открыла первую направо дверь, не постучавшись.

При слабом свете электрического рожка, низко спущенного над столом с разбросанными на нем инструментами, она увидала худую, высокую фигуру человека, занятого какой-то кропотливой работой. Согнутая спина его и прядь волос, упавшая на лоб, образовали на стене гигантский черный крюк.

— Ах, это вы? — сказал хозяин комнаты, оглянувшись на шум шагов.

Он разогнулся, мотнул головой и, приподнявшись, протянул руку. Собранное от напряжения в морщины лицо его раскрылось, как веер, в добродушной улыбке.

— Ну, каковы новости?

Жанина села против него на деревянном табурете.

— Вот, — ответила она и протянула две свернутые телеграммы.

Он развернул их, прочел и, прихлопнув ладонью, сказал:

— Великолепно, все идет, как нельзя лучше.

— Но я не совсем понимаю, — возразила Жанина.

— Что именно?

— Для меня неясно основное... Зачем в ту минуту, когда четыре социалистические группы, войдя в соглашение, выдвинули на пост премьер-министра Лагиша, основным пунктом декларации которого является...

Ее собеседник раскатисто рассмеялся, прервав Жанину на полуслове.

— Да, да, я знаю, что вы хотите сказать. Проведение этого пункта в жизнь — первый и основной шаг к осуществлению главного... Но, дорогая моя, неужели вы все еще так наивны, что можете хоть на минуту поверить в возможность разрешения этого вопроса в порядке парламентского постановления, да еще по представлению кого?

— Он социалист.

— И это говорите вы?

— Я хочу только сказать, что можно было бы посмотреть,

подождать... И если его декларация окажется обманом...

— Бросьте, Эскарго. Не будьте наивны. Декларация останется декларацией — он от нее не откажется? Тем хуже. Во все трудные минуты он будет выдвигать ее, как верный щит, а все останется на своих местах. «Задача эта сложна, — скажет он, — она требует времени... Комиссии работают, они изучают вопрос на месте»... Слыхали мы эти разговоры не раз! Нет! Эта декларация — только лишняя оттяжка, самый верный способ зажать нам рты...

Он поднялся с места и широкими шагами стал мерить комнату. Хохол на его голове плясал в такт его нервного шага.

— Надо знать, как я, что это такое. Надо, как я, служить пять лет в колониальных войсках, чтобы говорить... Я тоже ждал — доброго начальника, потом нового устава, потом комиссию, потом — черта в ступе до тех пор, пока не понял, что нужно бежать...

— Значит? — нерешительно спросила Жанина.

— Закинем наши удочки, — весело ответил он, и снова лицо его раскрылось в улыбке. — Поверьте мне, наш друг точно учел время.

— В таком случае, одевайтесь.

Он потирал руки от предстоящего удовольствия.

— Дансинг?

— Да.

— Черт возьми, мы повеселимся. Как ваши успехи, m-me?

— О, де Бизар от меня в восторге. Но торопитесь, чтобы можно было застать их...

Жанина смеялась, глядя на своего молодого друга, с шумом выдвигавшего ящики комода, хлопавшего дверцами шкафа. Крахмальная сорочка, фрак, штiblеты, галстук — летели на кровать.

— Отвернитесь, отвернитесь! — кричал он и, после паузы, прерываемой энергичными выражениями по адресу то одной, то другой части туалета, прибавил: — А я в свою очередь не зеваю. На завтра у меня назначено свидание, любовное свидание, с вашего позволения. Вот я каков. И с кем — если бы вы знали!

.

Телеграмма, поданная в Марселе в 23 часа 43 минуты от 7 ноября и прибывшая по назначению в 24 часа 5 минут —гласила:

«ПАРИЖ, ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, УЛИЦА РАСИНА, 7,
ЖАНИНЕ НУАЗЬЕ
ОПЕРАЦИЯ СОШЛА БЛАГОПОЛУЧНО, ДОКТОР
ОБЕЩАЕТ СКОРОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ.
ВИКТОР».

Сонный консьерж расписался в книге и дернул шнурок в пятый этаж.

— Мадам, телеграмма, — крикнул он снизу вверх вышедшей на площадку горничной.

— Вы могли бы ее отдать завтра, — зевая, отвечала Люси, — вы невежа, m-г Грегуар.

Они сошлись на площадке третьего этажа. Консьерж привлек к себе девушку, помахивая телеграммой перед ее носом.

— Я нашел, что это самое подходящее время, моя милая.

— А я нахожу, что у вас вовсе неподходящие манеры.

Горничная вырвала телеграмму и кинулась вверх по лестнице.

Он кричал ей вдогонку:

— Не забудьте все-таки своего обещания, m-lle Люси.

Люси прошла переднюю, гостиную, заглянула в полупритворенную дверь кабинета, — где, склоненный над ворохом бумаг, сидел m-г Нуазье в своей неизменной черной шелковой мурмолке, — и на цыпочках вошла в спальню. M-те легла сегодня рано, ссылаясь на мигрень. Но все же ее нужно было разбудить. За этот день m-те получила третью телеграмму. Она расстроена.

Люси шелкнула выключателем.

Матовая бледно-голубая чаша вспыхнула под потолком.

— Мадам, — осторожно позвала Люси, подходя к кровати.

Но ответа не последовало. Горничная подошла ближе — постель оказалась пустой. В комнате никого не было.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ — ГДЕ ВЛАСТЬ ПЬЯНЕЕ ВИНА, А ВИНО ГОРЧЕ ПОЛЫНИ

Когда обе стрелки сошлись на двенадцати и в эбеновом брюхе часов хрипнуло, а после загудело протяжно и многозначительно двенадцать полночных ударов, Гектор Лагиш подошел к большому трюмо своего кабинета и самодовольно посмотрел на себя в зеркало.

Из голубеющей толстой зеркальной поверхности, неизменно отражавшей три высокие, обитые темно-зеленым штофом стены, громоздкий письменный стол, стулья с готическими спинками, штофные пыльные портьеры на окнах, — выплыл навстречу Лагишу среднего роста господин, с бритым желтоватым лицом, с глазами, обведенными темной тенью, с широким лбом под ежиком стриженными волосами — лицо популярного депутата, лидера партии социалистов-радикалов, ныне объединившихся с социалистами-республиканцами и независимыми — лицо человека, блестящие выступления которого в Палате неизменно разрывались, как бомбы, над головами противников.

Прижав подбородок к груди, заложив пальцы правой руки за вырез фрачного жилета, а левую закинув назад, Лагиш ощущал в себе Наполеона. Даже брюшко, нарушающее общую стройность фигуры, — даже оно подчеркивало это сходство.

— Лагиш — премьер-министр.

Выходя из Палаты, он слышал, как об этом кричали газетчики. Их голоса показались ему особенно звонкими.

— Лагиш — премьер-министр!

В конце концов — дело отнюдь не в тщеславии... Если он счастлив, то лишь потому, что его назначение — первая

блестящая победа социалистического блока, окончательное и бесповоротное падение старой, оппортунистической политики Дюкане. И если он — Лагиш — вынесен на гробень, то это лишь воля случая. Не он, так другой должен был бы явиться карающим оружием. Конечно...

Лагиш снова взглянул на себя в зеркало, но предательская улыбка заставила его тотчас же отойти.

С ней нельзя было сладить. Она не оставляла его губ ни на мгновение после того, как, вернувшись от президента и окруженный своими единомышленниками, он передавал им свою беседу с главой Франции.

Его встретили в Елисейском дворце преувеличенно любезно. Его осыпали комплиментами, изумлялись его блеску, темпераменту и политическому такту.

— В вашем лице мы видим молодую Францию, — сказал президент, улыбаясь своей обычной гаерской улыбкой закоренелого скептика. — Мы верим, что только вы и ваша партия в настоящий момент отвечают настроению страны, а присущий вам такт оградит вас от неосторожных, слишком резких шагов.

Дружный смех депутатов покрыл последние слова Лагиша, неподражаемо передававшего в этих фразах всем известную манеру и интонацию речи президента.

— Я уверен, что вам, как и каждому французу, дорога и сила и мощь Франции. Ее значение в европейском концерте всецело зависит... — продолжал Лагиш, копируя своего высшего патрона.

— Колонии! — крикнуло несколько голосов.

— Старичину всего более беспокоят колонии! Старая лиса замечает хвостом свой след. Это обычная его манера.

— Ну, да, конечно, колонии, — подхватил Лагиш, меняя тон, становясь самым собою. — Я прекрасно понимал, к чему он ведет. Уступив поневоле необходимости, он все же рассчитывал оставить себе хоть какую-нибудь лазейку. Я предоставил ему говорить. Он прочел мне целую лекцию. Хитро построенную лекцию о незыблемых принципах, на которых держится наша колониальная политика. Он несколько не убеждал. Нет, помилуйте. Он только констатировал. Он ос-

тавался в рамках главы государства, равно глядящего на правых и виноватых. Он просто делился своей мудростью. Надо было видеть его в ту минуту. Когда он кончил, я встал и, раскланиваясь, позволил себе заметить: «Ваше превосходительство, я счастлив был выслушать того, в чьих словах звучала для меня вся мудрость блестящего прошлого Франции, — надеюсь, что в ближайшее время вы найдете возможным подвести столь же прочные и неотразимые обоснования и для тех путей, по которым пойдет Франция блестящего будущего».

Аплодисменты грянули дружным плеском. Депутаты пожали руки Лагиша.

— Этот день должен быть отмечен в истории, — говорили они, — какая победа, какая необычайная победа. Впервые Франция видит во главе правительства подлинного демократа и социалиста!

.

— Автономия колоний!

Весь Париж кипел, как добрый горшок. Это было нечто неслыханное.

Газетная склока никогда еще не принимала таких размеров.

«Action Française»* требовала немедленного мщения. «Хороший выстрел из револьвера или адская машина легко могла бы поправить дело», — писали ретивые монархисты.

Крайние левые газеты глухо констатировали факт:

**ГЕКТОР ЛАГИШ,
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО
СОЦИАЛИСТ,
ВЫДАЕТ ВЕКСЕЛЯ**

* Монархическая парижская газета.

**НА
АВТОНОМИЮ КОЛОНИЙ
ПОД СВОЕ КРАСНОРЕЧИЕ
И
МИНИСТЕРСКИЙ ПОРТФЕЛЬ.**

**ГРАЖДАНЕ! ХРАНИТЕ ЭТИ ВЕКСЕЛЯ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ
СМЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА — КОТИРУЮТСЯ НАРАВНЕ
С АКЦИЯМИ «ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ».**

В витринах магазинов Лагиш видел рядом с подвязками и презервативами тысячи своих отражений, еще более, чем он сам, походивших на Наполеона.

Но всего многозначительней был разговор с павшим премьером. Он произошел там же, в кулуарах Палаты депутатов.

Дюкане своей стремительной походкой первым направился навстречу своему преемнику, протянув вперед обе руки.

— Позвольте от души принести вам мои сердечные поздравления, — закрипел он, как плохо смазанные часы, — желаю вам блестящих успехов.

— Благодарю вас, — сдержанно отвечал Лагиш, стараясь придать своему лицу выражение вежливой непроницаемости.

— Итак, мы поменялись ролями, — продолжал Дюкане конфиденциально, беря под руку премьера и делая с ним вперед несколько шагов, — теперь мой черед пускать в вас свои стрелы. Министерские портфели напоминают мне кубки спортивных обществ. После решительных состязаний они меняют своих хозяев.

— Вы все еще продолжаете шутить, ваше превосходительство?

— Нет. Я продолжаю лишь начатую игру.

— Но разве она...

— Не кончилась? — хотите вы сказать. Нет, она только еще в своем разгаре. Перемена мест не меняет ее сущности.

— Но я понимаю свою задачу несколько иначе. Результаты нашей борьбы для меня и моей партии важнее самого процесса игры.

Дюкане двумя пальцами потянул себя за русую бородку — глаза сузились в щелки, откуда брызгал смех.

— Не спешите слишком с результатами, мой дорогой противник, — никто их не может предвидеть заранее. Чаще полезнее, когда игра кончается вничью. И потом — если игра кончена — что остается делать игрокам? Взять свои шапки и разойтись по домам.

Лагиш прервал его вопросом, стараясь придать ему большую искренность:

— Ответьте мне прямо и честно на один вопрос, ваше превосходительство.

— Честно? — Дюкане пожал плечами. — Честно? Вы требуете невозможного, мой молодой преемник. Впрочем, насколько мои политические убеждения позволяют мне ответить вам в большем или меньшем соответствии с истиной, — я готов.

— Что побудило вас пойти на капитуляцию, если вы считаете, что дело ваше не проиграно?

— Вот прямой вопрос, на который я с радостью отвечу так же прямо.

Дюкане сделал шаг в сторону и, дернув головой, ответил веселым тоном разбитного малого:

— Есть моменты, черт возьми, когда выгоднее играть на понижение. Ничто не следует исчерпывать до конца. У военных это называется отступлением на заранее заготовленные позиции. От души желаю вам иметь их в свою очередь.

Он сделал приветственный жест рукой, торопясь дальше — всегда подвижный, полный энергии и воли, несмотря на свои шестьдесят лет. Лагиш вспомнил о том, что еще за несколько дней до падения министерства Дюкане говорили о том, что этот последний становится во главе крупной компании, все предприятия которой связаны с колониями.

«Он играет на понижение — как бы ему не шлепнуть», — подумал Лагиш и, в свой черед посылая приветствие своему предшественнику, заметил не без самодовольства:

— Подготавливать позиции надлежит тому, кто отступает, а не идет вперед, ваше превосходительство. Наша партия умирает, но не сдается.

Последнюю фразу он произнес особенно громко, модулируя на высоких баритональных нотах — ее должны были слышать все. Несколько репортеров, следовавших за ним по пятам, тотчас же занесли в свои блокноты эту историческую фразу. Завтра весь Париж будет ее повторять.

.

— Итак, Гектор, ты — премьер-министр.

Лагиш прошелся по кабинету, который еще так недавно был только кабинетом адвоката и депутата департамента Уазы.

В следующий вторник — ровно через неделю — боевой день. День декларации нового министерства. Лагиш произнес вслух несколько блестящих, по его мнению, фраз из своей программной речи, — рука его с неудержимой энергией рассекала воздух.

Беззастенчивая телефонная дробь вернула Лагиша к действительности. Подходя к столу, где стоял аппарат, министр снова улыбнулся удовлетворенно. Он увидел недопитую бутылку, два фужера, на дне которых еще сверкало бледное золото шампанского, и рядом раскрытую коробку слоновой кости тонкой японской работы — в ней лежали сигары. Депутат никогда не курил сигар — министр их курит. Господину министру особенно рекомендовали эти сигары, когда он зашел в табачный магазин купить папирос. Заодно министр купил и коробку и шампанское. Маленькая птичка большая лакомка. Во всяком случае, министр еще не изменил привязанностям депутата.

Она пришла сегодня, как всегда, в девять вечера — в час отдыха. Они вдвоем распили на радостях эту бутылку.

Звонок трещал без умолку, но Лагишу спешить было незачем.

— Черт возьми, *теперь* его могли и подождать.

Он взял сигару, медленно обнажил ее смуглое тело из-под серебряного покрывала почти с таким же волнующим чувством, с каким стягивал золотистый чулок с ноги своей любовницы час тому назад, методически закурил и только тогда, следя за голубым дымом, улывающим вверх, протянул:

— Алло, я вас слушаю...

.

— Да, это я. Здорово, старина.

.

— Поздравления? Нет, конечно. Ты успеешь это сделать завтра вечером. Надеюсь, ты не забыл?

.

— Вот, вот, у *me* Колибри, как всегда. Там будут все наши. И с дамами.

.

— Конечно. Почему изменения? Никаких изменений. Все, как условлено.

— Что?

Сигара, не коснувшись губ, упала на мокрый поднос и зашипела. Лагиш схватился за телефонную трубку обеими руками.

— Что? Что?

Лицо его собралось в комок, брови растерянно разошлись в стороны.

— В Марселе, сегодня?

.

— Это не утка?

.

— Ничего не понимаю... Ну...

.

— Да нет же. У нас в комитете ничего не знают. Это, безусловно, штучки...

— Да, да...

.

— Декларация? Но при чем же тут она? Мы не отступим ни на шаг.

.

— Ты говоришь...

Кто-то долго и упорно дудел в трубку. Лагиш слушал, согнувшись над столом, и не прерывал. Наконец, он выпрямился.

— Хорошо, мы поговорим завтра.

Трубка звякнула о рычаг.

Несколько мгновений министр сидел неподвижно, уставясь мутным взором в поднос, потом поспешно схватил бутылку и опрокинул ее над фужером.

Белая пена, пузырясь, растаяла на пересохших губах.

Лагиш задохнулся — вино, за час до этого веселящим хмелем кружившее голову, теперь показалось ему горше полыни.

СУТКИ ВТОРЫЕ
МАСКИ И ЛЮДИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ — О ЖЕНСКИХ ПРИВЫЧКАХ, ПРИВЯЗАННОСТЯХ И ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

У m-me Эрнестины Мопà,— которую добрые друзья называли m-me Колибри за ее необычайно маленький рост и тоненький птичий голосок, — собиралось весьма смешанное, разнохарактерное общество. Это был типичный салон последней послевоенной формации.

Эрнестина овдовела два года назад. Ее муж, крупный интендант — патриот и социалист, до войны писавший ехидные статейки в оппозиционной газетке под именем «Чиновник военного министерства» и разоблачавший в них «высоких лиц, растрачивающих народное достояние», во время войны удачно округлил свой капиталец на закупке противогазов — явно недоброкачественных, поставляемых Ванбиккером. Мопà склонен был в этом усматривать некоторую долю пацифизма, — умер он, во всяком случае, не от угрызений совести, а от грудной жабы, будучи в отставке — уважаемым владельцем банкирской конторы. Шел темный слух о каких-то дутых акциях, выпущенных конторой Мопà, говорили о крупной игре на понижение франка, — Мопà поехал к господину министру финансов, возмущенно передал ему эти слухи, сделал подробный доклад и потребовал назначить комиссию для ревизии его конторы. Комиссию назначили, она в подробностях ознакомилась с делами и напечатала официальный отчет в «Финансовом бюллетене»: все операции банкирской конторы Рауля Мопà объявлялись вне подозрений.

Патриот и социалист мог спокойно отойти в иной мир — с грудной жабой и чистой совестью.

M-me Колибри залилась слезами, но не изменила раз заведенного порядка. M-г Бернар, храбрый офицер с резким, пронзительным лицом того типа, который после победы символизирует «добрых французов», правая рука покойного Мопà — занял его место в банкирской конторе и на пышной супружеской кровати под парчовым балдахином, где маленькую Эрнестину едва можно было найти.

В остальном m-me Колибри оставила за собой полную самостоятельность. Ее смело можно было назвать маленькой женщиной с большим характером. М-г Бернар почувствовал это тотчас же и покорился, несмотря на свои усы и военную доблесть.

У себя в салоне m-me Мопса царила самодержавно.

В память о муже она продолжала благоволить к социалистам. В память о бывшем своем владельце — банкирская контора продолжала его операции...

Понижение курса... но m-me Колибри плохо разбиралась в этих делах...

К тому же, у нее были и свои соображения.

— Кайенский перец, нисколько не лишая блюда его питательности, придает ему остроту и возбуждает аппетит, — говорила она.

Эту остроту она умела вносить во все. Друзья ее мужа — биржевики, коммерсанты, торговцы воздухом — весь этот почтенный мир дельцов, краса и гордость победоносной Франции — находили в ее уютном особняке на улице Марбефф тот щекочущий обоняние и нервы душок, который был им так необходим, чтобы чувствовать себя носителями утонченной культуры. Этот душок вносили с собой молодые депутаты, адвокаты, художники, бойкие журналисты, блестящая «оппозиция его величества», «друзья народа», социалисты-патриоты. Здесь, в общем фокстроте, они позволяли себе забыть, что они политические противники.

Салон m-me Мопса нельзя было назвать светским салоном былых времен. Хозяйка и сама не хотела этого.

— У меня веселятся, — говорила она с наивным видом, поводя своим остреньким птичьим носиком. — Нет, я далеко не пуританка. В буржуазных салонах я чувствую себя скверно. Мы не интересуемся ни родословной, ни формулярным списком. Мы идем в ногу с веком — мы демократичны.

Последний сезон у нее царил де Бизар, — этот кумир танцующего Парижа. Ее нисколько не шокировало, что он берет деньги за свои танцы.

Однажды он танцевал у нее фокстрот, который был

объявлен как фокстрот «молодоженов». Де Бизар и его партнерша попросту танцевали в ночных рубашках тончайшего шелка. И только. Танец произвел фурор. На этот раз хозяйка не пожалела кайенского перца. Из демократических побуждений, m-me Колибри первой ввела в моду вечера «тонущего корабля». Они устраивались раз в месяц. На них дамы приезжали в масках. Это давало возможность кавалерам приглашать на вечер своих любовниц или актрисочек из мюзик-холлов, модисточек из дансингов, всех тех милых созданий, с которыми они не решились бы появиться в салоне, но с которыми можно было повеселиться всю, раз они были в масках.

Каждый попавший на такой вечер должен был забыть о завтрашнем дне. В его распоряжении оставалась только одна ночь. Через несколько часов — корабль погибнет.

— У вас все для счастья — музыка, вино, любовь, — сумеете же этим воспользоваться, — объясняла неопитам* маленькая Эрнестина, сжавшись в комочек на своем диване, — человек перед смертью свободен от всех оков предрассудка.

С ней соглашались тотчас же.

Война научила многому.

Друзья m-me Мопс далеки были от предрассудков.

— Это смело, но пикантно, — говорили почтенные биржевики, не узнавая под масками жен, приехавших со своими любовниками, и радуясь случаю развлечься всю, несколько себя не компрометируя.

— M-me Колибри эксцентрична, но за этой эксцентричностью чувствуется несомненный здоровый демократизм, — вторили биржевикам веселые социалисты.

Они все тонули с большой приятностью.

В ночь с 8 на 9 ноября назначено было очередное потопление. На этот раз капитаном корабля должен был быть Лагиш — смелый завоеватель премьерского портфеля, Наполеон наших дней, произведший бескровную революцию.

* Новичкам, непосвященным.

М-me Мопс могла гордиться. Это она придала особый блеск молодому адвокату, окружила его дразнящей любопытством таинственностью и эксцентричностью своего салона, придала его свободомыслию некоторый налет пикантной дерзновенности, так обаятельно действующей на улицу. Даже «Фигаро», так много внимания уделявший на своих страницах светской жизни, при всей своей консервативности называл Лагиша «наш блестящий Лагиш, друг самой эксцентричной и обворожительной женщины Парижа — М-me Мопс».

Отныне и враги должны были признать, что на корабле, умело и хитро водимом маленькой женщиной, не только умеют весело тонуть, но часто находят способ победоносно выплыть к берегам славы.

По мысли ш-ше Колибри, сегодняшний вечер должен был перенести его участников в сказочный мир цветущего Карфагена, каким его изобразил Флобер. Сама она олицетворяла божественную дочь — Саламбо.

Она заказала изумительный костюм, точь-в-точь такой, какой описан Флобером. Его должны были принести к одиннадцати утра. Кроме того, сегодня днем к ней обещал заехать Дюкане — ее руководитель и верный друг. М-г Бернара Эрнестина не могла назвать другом — она слишком хорошо знала ему цену. Он мог быть только верным исполнителем ее предначертаний, неутомимым тружеником на спелой, но все еще благоухающей ниве. М-me Колибри каждый раз улыбалась, вспоминая его жирную атлетическую грудь, мускулистые руки, стальной суховатый торс мужчины, прошедшего военную школу.

Это был великолепный экземпляр человеческой породы, образчик мужской силы, так редко встречающейся в наше время. Когда он находил Эрнестину в глубине ее алькова — она безропотно подчинялась ему, блаженно чувствуя свою слабость. Но и только...

М-me Мопс давно убедилась в том, что счастье приходит к нам с разных сторон, обрывками, которые нужно уметь слить в одно целое. Ее чутье и находчивость делали ее счастливой. Она нашла то, что искала — пусть в разных

местах — не все ли равно! У нее был любовник и был друг. Виновна ли она, что природа не сумела слить их в одном образе?

М-ше Колибри приоткрыла глаза. Жесткий, требовательный, самонадеянный ус щекотал ей кончик носа. Она рассмеялась, сжавшись под одеялом, готовая принять поцелуй, — такой длительный в счастливый миг пробуждения, — и тотчас же радостно вспомнила о платье Саламбо, свидании с другом и предстоящей ночи.

М-г Бернар держал ее в своих деспотических объятиях — это было его неоспоримое право.

ГЛАВА ВТОРАЯ — ГДЕ «ДЕЛОВОЕ СВИДАНИЕ» ОКАНЧИВАЕТСЯ НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНО

Но если счастливые любовники не спешили вставать, то зато Флипотт вскочила тотчас же, как проснулась. Ей нужно было побывать в тысяче мест. Она подбежала к зеркалу в одной рубашке, кулаками протерла глаза, обведенные густой желтизной, достала пуховку из пудреницы и быстро провела ею по заспанному лицу.

Этьен потянулся за папиросой, закурил и, глядя на нее, сказал:

— Ты похожа сейчас на маленькую обезьянку, вертящуюся перед зеркалом, и если бы мне не было лень, я написал бы твой портрет в таком виде и назвал бы его «Туалет Венеры Муш-Муш».

В зеркале она видела отражение его лица с растрепанными волосами, его смеющиеся глаза, и внезапно ей захотелось поцеловать его. Кто может быть лучше Этьена?

Она подбежала к нему, стала на колени и спрятала нос свой на его груди, в складках его рубашки. Но вот — мгновение — и она уже на ногах. Она выкидывает в сторону то одну, то другую голую ногу, потом делает «шпагат» и снова бежит к зеркалу пудриться и надевать шляпку. Чулки и ботинки она надевает после всего остального.

Когда Флипотт совсем готова и собирается уходить, она снова оглядывается на Этьена.

Он спит и чуть посапывает, открыв рот. С бесконечными предосторожностями она подходит к нему и целует его руку, которая лежит у него поверх одеяла.

За дверью она преображается. Лицо ее становится озабоченным и деловым, в ее движениях незаметна робость. Она идет по улице быстрыми легкими шагами парижанки, мимоходом заглядывая в витрины магазинов. Ей нужно забежать домой, поцеловать милую, маленькую мамочку, съесть свой маленький завтрак, — чашку шоколада с двумя бриошь, приятно хрустящими под проворными зубами, и сейчас же бежать в театр на репетицию, а оттуда на «деловое свидание».

«Деловое свидание» назначено в три часа в парке Монсо. Она является туда без четверти четыре. У нее строгий вид. Это для того, чтобы не дать повод фланерам преследовать ее.

— Вы меня ждали? — спрашивает она, подходя к тому, с кем у нее «деловой разговор».

Это высокий молодой мужчина. Лицо его беспечно и весело, как у фокса.

— Стоит ли говорить о таких пустяках, — отвечает он мягким баритоном и мальчишески улыбается всеми зубами. — Быть может, m-lle пожелает пройти со мной по этой аллее?

— С удовольствием, m-g, — говорит Флипотт, — у меня есть несколько свободных минут.

И они ходят туда и обратно по аллее, то скрываясь в тени, то снова появляясь на солнце. Флипотт улыбается играющим детям, и ей самой минутами хочется присесть рядом с ними и лепить из песка пироги.

— Я видел вас несколько раз в «Обозрении», и каждый раз ваши танцы доставляли мне истинное наслаждение, — говорит ее спутник любезным тоном кавалера, занимающего свою даму, незаметно следя за нею косым улыбчивым взглядом, — у вас столько ритма в движениях, столько грации.

Она слушает его одним ухом. Боже мой, мужчины все говорят одно и то же, когда знакомятся с хорошенькой женщиной, — все, кроме Этьена. Но ведь Этьен — исключение... Когда ей подали за кулисы карточку этого господина, она долго колебалась, согласиться ли на знакомство с ним. Но Мадлен прочла его фамилию и сказала с убеждением:

— Ты будешь дурой, если откажешь ему.

— Но как же с m-г Лагишем?

— Он может и не знать, если ты пожелаешь, а в конце концов, пошли его к черту. Я бы давно бросила этого надутного болвана, у которого нет даже собственного лимузина.

— Но ты же знаешь, кто он теперь! Мне даже с ним немного страшно — такой он важный. Я не могу на него пожаловаться.

— Тем хуже для тебя, если это так. Пусть он лопнет от спеси, от этого у тебя не прибавится драгоценностей. Скорее всего, он сам найдет тебя недостаточно шикарной для министра. Нам нужно думать о будущем — без хорошего гардероба мы можем остаться навсегда полотерками, а это совсем не весело.

У Мадлен удивительная манера выражаться, но в конце концов она права, — ее нос, маленький, розовый, глядящий в небо нос, обладает тонким чутьем, а глаза всё видят.

— И вот, m-lle, — продолжал господин, — я, наконец, осмелился представиться вам. Вы мне оказали большую честь... И, если позволите, я предложил бы вам совершить маленькую прогулку в отто перед обедом.

Она согласилась, и они едут в Булонский лес. Их везет прелестная сильная машина, скользкая бесшумно мимо бульваров, баюкая на мягких подушках. Флиппотт жмурит глаза от ветра. Господин смотрит на нее с нескрываемым восторгом и осторожно берет за руку. Она не глядит на него, но руки не отнимает. Ей льстит его внимание и нравится его корректность. Он хорошо воспитан и держит себя как джентльмен.

— У вас, m-lle, прелестные пальцы и тонкая-тонкая кожа, сквозь которую просвечивают синие жилки. Касаясь их

губами, чувствуешь, как бьется кровь.

Флипотт отдергивает, наконец, руку. Теперь она пахнет английскими духами, которыми надушены усы этого господина.

Зеленые тени парка плывут по синему блестящему кузову auto.

Зеркалится недвижимая поверхность прудов. Ноябрьское солнце едва ласкает кожу подушек, сквозь туфли греет пальцы ног.

— Этот воздух усыпляет меня и вызывает жажду, — говорит Флипотт.

— Мы сейчас утолим ее, — предупредительно отвечает господин.

Они выбирают столик в беседке. Господин в стороне беседует с лакеем. Флипотт сидит у трельяжа и смотрит на поле, на огромный ипподром, теперь пустынный. Ею овладевает легкая грусть, причины которой она не знает. Ей вспоминается ферма ее отца в Бургоне, потом она думает об Этьене и его рисунках.

— Я попрошу этого господина, чтобы он заказал Этьену мой портрет, тогда мне можно будет чаще встречаться с ним, и, кроме того, это кое-что прибавит к его заработку.

Она не заметила, что к ней подошли. Господин наклонился к Флипотт, к ее шее, быстро поцеловал ее в затылок, потом взял за плечи, повернул лицом к себе, прижался губами к ее губам. У Флипотт горячие губы, а зубы холодные. Она стиснула их и не шевелилась.

Сильный запах английских духов щекотал ей нос, но это не было противно. Господин умеет целоваться.

Он тотчас же оставил ее, когда вошел лакей.

За обедом у Флипотт пылали щеки от вина и нервного возбуждения.

— Я пью за ваше здоровье и нашу встречу, — подымая свой фужер, говорил господин.

— Я тоже, — отвечала Флипотт, стараясь незаметно спрятать лежащую перед ней грушу в сумочку. — Эго я съем перед выходом, — пойманная на месте преступления, объяснила она, думая: «Этьен любит такие груши...»

Но внезапно лицо господина стало серьезным. Он поставил свой бокал с недопитым шампанским и, глядя в упор на девушку, молвил:

— Как давно были вы у Лагиша?

— Что?

Флипотт широко, открыла глаза, инстинктивно порываясь встать, но тотчас же почувствовала на своей руке руку господина.

— Не бойтесь, — сказал он с дружеской откровенностью человека, знающего все ее тайны, — у меня вовсе нет желания причинить вам неприятности. Но кое-что мне бы хотелось знать. Впоследствии я объясню вам все.

— Но я не понимаю...

— Сейчас поймете. Когда вы были последний раз у Лагиша?

— Вчера вечером.

— А сегодня он ждет вас?

Теряя способность сопротивления, испуганная Флипотт ответила, не раздумывая:

— Нет, сегодня он на вечере у m-me Мопя. Теперь, когда он стал министром, нам приходится встречаться все реже. Он запретил мне приходить к нему на квартиру.

— Но вы же не разошлись с ним, я надеюсь?

Ее возмутила сама мысль об этом:

— О, нет. Что вы? Мы с ним... то есть, я хочу сказать — мы так привыкли друг к другу.

— Прекрасно, значит, вы будете встречаться где-нибудь в другом месте?

— Да, у моей подруги...

Флипотт опустила глаза, она колебалась, она чувствовала себя в положении школьницы, отвечающей плохо приготовленный урок.

«Если бы Этьен был здесь», — беспомощно думала она, комкая в руках сумку, в которой лежала груша.

Но господин успокоил ее с улыбкой:

— Я не стану спрашивать вас об адресе. Дело не в нем. Но у меня к вам большая просьба. Надеюсь, вы мне не откажете.

— Просьба?

— Да, видите ли... вам необходимо встретиться с Лагишем сегодня...

Флипотт все больше недоумевала.

— Вам нужно вызвать его с вечера m-me Мопа. Сейчас я вам объясню это.

Господин придвинул к ней свой стул и продолжал вполголоса:

— Ваш друг Этьен Виньело...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ – О ДРУЗЬЯХ, ПОНИМАЮЩИХ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА

— Входите, входите, — говорила m-me Колибри, встречая на пороге кабинета идущего к ней своей быстрой, решительной походкой старика Дюкане, — как видите, мой дорогой друг, я поглощена приготовлениями к сегодняшнему вечеру. Но это не мешает мне думать о вас.

Энергичным движением Дюкане взял ее пухлые, микроскопические ладони в свои руки и, поднося их к губам, ответил с добродушной усмешкой:

— Я всегда знал вашу способность не упускать из виду нескольких дел одновременно.

— Это упрек?

— Нисколько. Вы знаете, как я восхищаюсь вами.

— В таком случае, взгляните, во что я превратила свою квартиру.

Они пошли рядом по анфиладе комнат, где обойщики, декораторы и электротехники заканчивали свою работу.

Ковры, парча, гобелены, шали, легкий газ, александрийские шелка образовали в своей пестроте и разнообразии экзотические шалашы, в которых расцветали тропические растения, укромные ниши, полные очарования, таинственные переходы, открывающие все новые неожиданные закоулки. В этом сложном лабиринте легко было запутаться, скрыться, исчезнуть, потонуть в мягких подушках, прислушивать-

ся издали к людскому шуму и музыке, курить, любить, мечтать. Маленькая женщина рассчитала верно. Она знала вкусы своих друзей и не хотела мешать им развлекаться — каждому по своему вкусу. Внешне все должно было быть прилично. Большая круглая зала, затянутая сплошь персидскими тканями, шатром собранными на середине потолка в пышный узел, откуда спускалось огромное, золотистого шелка электрическое солнце, ярко улыбающееся раскрашенным ликом, — предназначена была для танцев, для обыкновенного костюмированного бала, ничем не отличающегося от других буржуазных балов. Другая зала, — узкая и низкая, похожая на вагон-ресторан (вместо окон за голубоватым газом горело электричество) служила буфетом, чопорным буфетом для пожилых людей, любящих плотно покушать.

Весь особняк напоминал не то мастерскую художника, не то дворец эксцентричного раджи, не то фешенебельное* учреждение для определенных целей. В этом и сказывалось все остроумие m-me Мопэ, — уважаемой банкирши, пикантной вдовушки Колибри, маленькой женщины с большим характером.

— Изумительно, — говорил Дюкане, следуя за хозяйкой своими быстрыми семенящими шажками, бегло оглядываясь вокруг, — вы, как всегда, неподражаемы. Но, мой крохотный друг, в настоящую минуту мне хотелось бы поговорить с вами по делу. В моем распоряжении всего четверть часа.

Они остановились в одной из укромных комнат, предназначенных для спиритических сеансов, черной магии и иной чертовщины. Де Бизар обещал привести гипнотизера и медиума — это могло развлечь и придать всему вечеру еще более экзотический характер.

Темные ткани с каббалистическими знаками, жертвенник с неугасаемым пламенем, над которым сейчас возился электротехник — все должно было действовать на воображение.

* Дорогое, привилегированное.

— Сядем здесь, — сказала Эрнестина, опускаясь на низкую оттоманку и подбирая под себя ноги.

В эту минуту в своем желтом, расшитом цветами кимоно, с пепельными, легкими, как паутина, волосами, крохотным личиком она и точно походила на колибри.

— Но, — проговорил Дюкане, оглядываясь на рабочего, — я не хотел бы...

— Пустяки, он занят своим делом, а в конце концов, что он поймет? Они теперь бродят по всем комнатам. Вы скоро кончите? — возвысив голос, спросила она.

— Да, мадам. Кое-какие пустяки...

Дюкане присел рядом. Он заговорил вполголоса:

— Вам известна причина моей отставки. По официальным сообщениям, я вынужден был покинуть свой пост. Создавшаяся конъюнктура в стране, общее недовольство, брожение в колониях поставили правительство перед необходимостью... Одним словом, все, что обычно пишется в таких случаях. Некоторая доля правды в этом есть, вы сами понимаете. Но самое важное...

Дюкане оглянулся на рабочего, всецело поглощенного своей работой на другом конце комнаты, и продолжал:

— Самое важное, конечно, не это. Я уже говорил вам, в чем дело. Я заинтересован так же, как и вы... Одним словом, наши дела... Мы много раз беседовали на эту тему. С моей отставкой и назначением Лагиша, в связи со слухами о предстоящей автономии — франк катастрофически обесценивается, акции синдиката колониальных железных дорог падают. Это самая удобная минута. Наши агенты делают свое дело. Банкирская контора Мопы...

— Знаю, мой старый друг, это для меня не новость. Но я догадываюсь, к чему вы ведете... Лагиш, не правда ли?

— За неделю, оставшуюся до декларации, все будет сделано, — ответил Дюкане, снова оглядываясь на электротехника.

— Лагиша нужно одернуть?

— Да. Ему нужно внушить...

— Мой друг, не надо лишних слов. Вы знаете, что я всегда ваш верный союзник.

Бывший премьер склонил свою седую жесткую голову к ее руке.

Она поцеловала его в редеющий затылок.

— Месяц тому назад я уговорила его вложить свои сбережения в мою контору, — вскользь проговорила Эрнестина, — вы не сердитесь на меня за это?

Дюкане выпрямился, восхищенно глядя на свою собеседницу.

— Я все больше удивляюсь вам, — воскликнул он с юношеской экзальтацией, — вы совершенство!

Она прервала его со смехом.

— Я всего лишь маленькое создание, счастливое тем, что у него такой мудрый учитель. Да. Мне пришлось это в голову тогда еще, когда он и не думал о возможности заметить вас.

— И именно тогда, когда я намекнул вам, — подхватил Дюкане, смеясь в свою очередь, — что ситуация может измениться...

М-ме Мопс чувствовала себя в это утро особенно счастливой — ни любовник, ни друг не обманули ее ожиданий.

— Вы хотите переговорить с ним?

— Я полагал бы... если бы вы...

— Прекрасно, сегодня вечером, здесь, в этой комнате.

Рабочий с грохотом поволок за собою складную лестницу и, посвистывая под нос, вышел.

— Сначала я переговорю с ним сама, — продолжала Эрнестина, — вы услышите весь наш разговор, если пройдете за эту занавеску. Потом я вас вызову и... Сюда никто не войдет до сеанса...

Дюкане снова поцеловал ей руки. В его старой голове, всегда деятельной, полной проектов, широких замыслов, в этом черепе под жесткими редкими волосами ни на мгновение не угасал государственный ум старого, травленного политического волка.

— Ты самая тонкая, самая обаятельная женщина, какую я только знал, — произнес он почти растроганно, привлекая к себе ее фарфоровое лицо, — я никогда не перестану восхищаться тобою... Но вместо себя я припшлю Панлевеса.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ – ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ

Папа Леру висел на уровне четвертого этажа и поплевывал вниз, нисколько не заботясь о том, куда и в кого попадали его плевки, мазал охрой вновь отштукатуренную стену. Папа Леру безразличен был ко всему. Его ничто не могло смутить или вывести из состояния равновесия. Папа Леру лишен был дара слова и слуха. Это избавляло его от излишних хлопот и неприятных размышлений о человеческой подлости. Он был совершенно равнодушен к парламентским потрясениям, международным осложнениям, газетной шумихе. Его окружала благодетельная, ненарушимая тишина. Он мог лицезреть мир, как некую фильму во много тысяч метров, нисколько не отвлекаясь состраданием от философического бесстрастия своих мыслей. Люди бежали мимо него или под его ногами, — он мог свободно плевать им вслед, — он даже не слышал их ругани.

Папа Леру красил стену. Само ремесло сделало его эстетом и философом. По воскресеньям он напивался пьяным, чтобы дать отдых своим глазам, утомленным мельканьем.

Но в этот день, ровно в шесть, его размышления были прерваны камнем, ударившим его между лопаток.

Леру взглянул вниз и увидал на противоположном от его дома тротуаре человека в каскетке и с брезентовым мешком в руке.

Человек правой рукой энергично махал ему.

Тогда папа Леру взглянул на небо, определил по солнцу время обеда — и медленно спустился на блоке вниз.

Парень пошел к нему навстречу и пожал его вымазанную охрой руку. Они молча нырнули в соседний трактирчик.

Через четверть часа папа Леру не только ничего не слышал, но и ничего не видел. Тысячметровая фильма оборвалась далеко до конца сеанса, но маляр нисколько не жалел об этом. Он даже пытался издавать какие-то нечленораздельные звуки, похожие на мычанье, но спутник его по-прежнему сидел бодро на своем стуле, потягивая бок. Гла-

за его внимательно оглядывали посетителей, крупный рот складывался в лукавую усмешку. По-видимому, он кого-то ждал.

Ровно в четверть шестого на площади Звезды из метро вышли m-me Нуазье и высокий молодой человек. Они пересекли площадь в молчании. У Жанины был утомленный вид человека, взвалившего на себя непосильную ношу. Ее спутник, напротив, казался полным сил и энергии.

Он все еще был под впечатлением недавно состоявшегося свидания. Помимо всего прочего, девчонка сама по себе была недурна. Кто заставлял ее путаться с разным хламом, когда у нее был такой хороший парень, как Виньело, которого она, несомненно, любила. Но Виньело был всего лишь талантливым художником, слишком честным, чтобы иметь деньги. Его любовницу покупали те, кто называл Этьена порнографом. Это было в порядке вещей.

— Гнусность! — неожиданно громко произнес молодой человек.

— Что вы сказали, Жан? — удивленно спросила Жанина.

— Я сказал «гнусность». Это слово вырвалось у меня случайно, но я охотно повторю его. Гнусность!

— Что именно?

— Всё решительно;

— Поздравляю вас.

— И вас также. Мы все хороши одинаково. Мы барахтаемся в грязи по горло.

— У вас сегодня покаянное настроение.

— Ничуть. Раскаиваться мне нечего. Но, чем больше я чувствую грязь, тем больше желания у меня является выкупаться. Скажу вам откровенно, у меня давно уже чешутся руки.

— Вы же сами говорили, что скачала нужно начать там...

— Да, в Африке. Но может же человек иногда терять терпение!

Он замолк на время, но тотчас же разразился веселым детским смехом:

— Нет, вы представляете себе этот скандал! И все их лица!

Жан продолжал смеяться на всю улицу, размахивая руками и гримасничая. Он нисколько не походил на того строгого джентльмена, который гулял с Флипотт по парку Монсо.

М-me Нуазье тронула его за рукав.

— Де Бизар.

Навстречу шел своей эластичной походкой знаменитый танцовщик.

— Какая приятная встреча! — вскричал он, — наши дороги скрещиваются, мадам, в самых неожиданных местах. Я фланирую, отдыхаю перед вечером у m-me Мопа. Вы, конечно, не измените вашего решения? Ваше обещание привести с собой настоящего араба привело m-me Мопа в дикий восторг. Вы знаете ее эксцентричность. Итак, до вечера.

Он приподнял шляпу и поплыл дальше, оставляя за собой благоухающий след.

— Мы не опоздаем? — спросила озабоченно Жанина.

— Нет. Если нанять фиакр, то через десять минут он нас доставит на место.

Жан не ошибся, через десять минут они спускались в низкий кабачок у вокзала Монпарнас. Все столики были заняты обедающими. Густой дым клубился под закопченным потолком. Два инвалида у окна играли в шахматы. Никто не обратил внимания на вновь прибывших. Они остановились, стараясь разглядеть свободное местечко.

Внезапно Жанина схватила Жана за руку.

— Вот он, — произнесла она шепотом, глазами указывая на дальний столик, за которым храпел папа Леру. Рядом с ним, сгорбившись, барабана пальцами по стакану, сидел человек в драповом, поношенном, мышиного цвета пальто.

ГЛАВА ПЯТАЯ — ОБОЛЫЩЕНИЕ САЛАМБО

Де Бизар в костюме берберийского танцовщика превзошел самого себя. Его фокстрот под аккомпанемент тамта-

мов, рейт и генибри* принял характер оргийной пляски. Голая партнерша под бронзовым гримом, с тяжелым золотым головным убором в виде летящей птицы, изнеможенная распростерлась у его ног. Возбужденные зрители облизывали пересохшие губы.

В дальних, затененных углах, полулежа на коврах и подушках, расположилось несколько пар, предпочитавших уединение. Мускулистые голые негры с красной перевязью на бедрах разносили шампанское. Жирные биржевики в просторных халатах, из-под которых выглядывали тугие пластроны крахмальных сорочек, скалили зубы на пышные плечи и бюсты таинственных незнакомок, скрывших лица под черными полумасками.

Дамы чувствовали себя совершенно свободно. Ничто не могло их скомпрометировать под охраной маски. Их Карфаген не мог быть разрушен.

Ванбиккер сидел рядом с Лагишем. Миллионер долго пожимал руки министру.

— Мой молодой друг,— говорил он вкрадчиво, — вы не поверите, как я был обрадован вашей победой. Не скрою, что, будучи вашим политическим противником, я все же неизменно восторгался вами. Такой блестящий талант...

Ванбиккер не договаривал. Лагиш с достоинством склонял голову.

— Правда, мои интересы в Марокко, — продолжал миллионер, — очень связаны...

М-me Мопе, ослепляя великолепием одежд царицы Саламбо, прервала их беседу.

— Вы мне позволите на минуту похитить у вас нашего дорогого триумфатора?

И, опершись на руку Лагиша, она повлекла его за собою.

— У меня к вам маленькая, маленькая просьба. Вы не откажете?

— Смею ли я...

* Восточные, арабские музыкальные инструменты.

— Ну, конечно, вы мой друг и не оставите меня в тяжелую минуту.

— Тяжелую минуту?

— Увы!

Ее глаза расширились, полные надежды.

— Да, я не могу скрыть этого от вас.

Ее слова долетали до него едва слышно. Треск джазбанда заглушал их. Лагишу приходилось нагибаться, почти касаясь губами ее волос.

— Но в чем же дело, мадам?

Они остановились в узком проходе, едва освещенном голубоватым светом, проникающим из соседней комнаты, в которой m-me Мопэ сегодня утром принимала Дюкане.

Эрнестина умоляюще схватила Лагиша за обе руки. Они стояли, прижавшись друг к другу — так тесен был проход.

В душной полумгле министр видел только блеск глаз миниатюрной Саламбо. Нечаянным движением руки он коснулся ее обнаженной талии — теплой полоски надушенного тела между блестящим корсажем и шелковыми шароварами.

Лагиш пробормотал взволнованно:

— Но в чем же, в чем же дело, царевна?

В ответ она заговорила быстро-быстро, придушенным голосом, дыша ему в лицо, закинув вверх маленькую головку:

— Я не знаю, может быть, это и не так опасно. Но ведь я одинокая женщина, у которой на руках такое большое, ответственное дело... Это очень трудно, уверяю вас. А сейчас меня перепугали до смерти. Мне сказали, что я могу лишиться через пять дней всего своего состояния.

— Через пять дней? — переспросил Лагиш, все больше теряясь от близости этой маленькой женщины с обнаженной талией.

— Да — через пять дней, именно тогда, когда вы объявите свою декларацию.

— Но почему?..

— Ах, я плохо разбираюсь в этих вещах, но мне объясняли, что после окончательного провозглашения автономии

колоний...

— Колоний?

Лагиш уже держал ее за талию. Он все крепче сжимал теплое живое тело, под которым чувствовалась пульсация крови, равномерное движение дыхания.

— Ну да... Как мне объяснили, все капиталы нашей конторы вложены в акции колониальных предприятий. Понимаете, все — до единого.

— Ну?

Лагиш все не понимал, у Лагиша звенело в ушах. Он почти приподнимал в своих объятиях маленькую женщину — еще мгновение, и они упадут оба на ковер под треск и гуд джазбанда.

— Бог мой, что с вами?! нас могут увидеть, нет, нет, только не здесь, умоляю вас...

Она вырвалась, поблескивая в полутьме глазами.

— Сумасшедший!

— Но, Колибри...

— Тише. Вы должны быть паинькой. Одну минуту внимания, слышите? Вы можете меня спасти. Да, да, только вы один.

— Но, Колибри...

Она снова отвела его руки.

— Бешеный. Он не хочет уняться. Но поймите — ведь и ваши сбережения могут тоже погибнуть.

— Мои сбережения?..

— Конечно! Противный, он ничего не слышал, что я ему говорила. Все деньги ушли на покупку акций — понимаете? Каких-то акций колониальных железных дорог. Мне это посоветовал Ванбиккер.

Он постепенно трезвел. Легкий испуг приподнял его брови, зрачки потухли. Неужели разорение? Нет, нужно внимательно выслушать эту женщину, а потом...

— Объясните мне все подробно, — сказал он деловым тоном.

— Ну, вот видите. Это очень серьезно, я чувствовала, милый...

Она снова прижалась к нему, стала на цыпочки, косну-

лась губами его подбородка.

— Вы теперь не откажете... Дело в том, что я сама не сумею все объяснить толком. Идем, — за меня это сделает другой, мой старый друг, мой поверенный, очень умный человек и скромный... m-r Панлевес...

— Панлевес?

— Да, да, бывший секретарь Дюкане...

— Но мне не хотелось бы...

— О, не беспокойтесь, это честный, преданный мне человек... Он уже не служит у Дюкане.. и очень ценит вас... Идем сюда, вот в эту комнату... Я знала, что вы не откажете...

Лагиш все еще колебался. Он боялся ловушки со стороны старой лисы Дюкане. Он не хотел бы, чтобы кто-нибудь подумал, что он способен вступать в переговоры с прежним правительством. Но, с другой стороны — если это касается только его личных дел...

Эрнестина ждала. Грудь ее тяжело дышала под блестящим лифом.

Внезапно она взмахнула обнаженными руками и, закинув их за шею министра, прошептала:

— Не правда ли, мы будем безумствовать сегодня?.. Я жду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ — КАЖДЫЙ КУРИТ СИГАРУ ПО-СВОЕМУ

М-лс Ванбиккер в белом покрывале, завязанном под глазами, в широких белых панталонах с прямыми складками, в красных тэмагах, закутанная с головы до ног в красный хаик, верхний край которого плотно прилегал к ее лбу от одного виска к другому, полумесяцем обрамляя ее брови, сидела в дальнем углу залы-шатра. Рядом с ней у ее ног на коленях, держа бокал с мороженым, стоял лейтенант Самойлов. Приподняв край покрывала, Эсфирь ела мороженое.

— Вы его должны разыскать, — упрямо повторяла девушка между двумя глотками, — если вы не сумели его спрятать так, чтобы он не удрал — вам остается его найти.

Лейтенант возражал взволнованно:

— Я никогда не был сыщиком. Его найдет полиция, и вообще не понимаю, зачем он вам понадобился?

— Я хочу...

— Это не резон. Зачем вам понадобился какой-то проходимец?..

— Не смейте его так называть.

— Но кто же он, по-вашему?

— Не знаю, во всяком случае, человек, не лишенный того, чего у вас нет...

— Например?

— Оригинальности.

Это было слишком. Самойлов вскочил на ноги. Вся кровь ударила ему в голову.

— Боюсь, что такого рода оригинальности, какая вам нравится, во мне действительно нет, — начал он срывающимся голосом, но в это время услышал за собой голос, странно его поразивший:

— Хвала Аллаху. Каждый находит то, что хорошо ищет.

Перед ним стоял среднего роста человек, прикрытый белым бурнусом. Из-под тюбана смотрели темные, глубоко сидящие глаза, черная борода веером лежала на груди.

— Простите, я вас не совсем понимаю, — возразил лейтенант, пристально вглядываясь в незнакомца.

— Ты не знаешь меня? — отвечал тот невозмутимо. — Я Абдалла-Бен-Сид-Мустафа, прорицатель судьбы и свидетель душ. Тот, кого ты ищешь, недалеко от тебя.

М-Ие Ванбиккер прислушалась в свой черед.

— О ком же мы говорили? — спросила она.

— О человеке, который потерял родину.

Эсфирь поднялась с подушек. Это становилось любопытным.

— Кто же он, по-твоему, и где он?

— Он человек без имени, но с великой волей, и он там, где его ждут менее всего...

— Что за мистификация, — смеясь, вскрикнула Эсфирь, — вы очень забавны, господин Мустафа. Простите меня, лейтенант, я хочу спросить кое о чем этого прорицателя.

Она взяла под руку незнакомца и прошла с ним несколько шагов. Мимо них проносились маски, музыка колебала цветные стены шатра веселым своим треском...

— Ваш голос мне знаком, — сказала m-lle Ванбиккер, стараясь поймать взгляд незнакомца, — я его слыхала недавно.

— Тем лучше, — просто отвечал тот с добродушной усмешкой, забывая о своем восточном красноречии.

— Вот как?

Эсфирь смотрела на него во все глаза. Ее любопытство было возбуждено до крайности. Наконец-то ей удалось напасть на нечто не совсем обыденное.

— Да, я именно тот, за кого вы меня принимаете, — невозмутимо продолжал незнакомец. — Сейчас не время для длинных объяснений, но мне хотелось, чтобы вы узнали меня именно сейчас, а не после... Понимаете?

— Не совсем, мой таинственный Мустафа.

— Если бы вы узнали меня *после*, я рисковал бы провалить задуманное мною. Вы должны обещать мне молчать об этом до завтра... и заставить молчать вашего кавалера... ничего больше.

— А если я не захочу?

Эсфирь вздернула голову, черные усики задвигались под покрывалом.

— Тем хуже для вас, — равнодушно ответил незнакомец.

Оглушительный взрыв аплодисментов заглушил этот разговор, продолжавшийся еще несколько минут.

В черной комнате, где на треножнике пылал неугасимый огонь, в комнате черной магии, деловая беседа подходила к концу.

Лагиш вынул сигару в серебряной бумажке, обнажил, обрезал и зажег. Голубоватый дымок пополз по золотым арабескам низкого навеса. Панлевес закурил в свою очередь. Оба на время смолкли.

Каждый сказал то, что мог, — оба пришли к определенным выводам — сомнений никаких не оставалось. Политика — есть политика.

Точка.

У Лагиша горело правое ухо, как у школьника, которому внушили правила поведения. У Панлевеса дрожало правое веко, как у человека, напряженно всматривавшегося в темную даль. Панлевес обладал удивительной способностью кошки — видеть в темноте. Вся его карьера была построена на этом. Он был истинным духом парламентаризма.

Узкая голова топором, длинный, точно приставной, нос клювом, прилипшие к черепу гладкие черные волосы, аккуратно разделенные пробором посередине. Бледное, точно обточенное бритвой лицо с тонкими бескровными губами. Хилый, согнутый корпус. На прямых плечах платье, как на вешалке. Смесь арлекина с инквизитором.

Взянув голову, пригнувшись, сидел он с таким же выражением иронии и лукавства глядя перед собой, с каким он смотрел обычно на депутатов из-за пюпитра, произнося неизменно вежливым, размеренным голосом свои полные яда часовые речи.

Лагиш хорошо знал эту фигуру, этого «народного избранника», у которого не было друзей, но которому все аплодировали. Он знал, к каким интригам прибегал Панлевес, чтобы пролезть в заветную Палату, этот игорный дом, все «правила игры» которого давно были им вытвержены назубок. Рассерженный приставаниями Панлевеса, бонапартист и сын известного бонапартиста Кассаньяк рассказывал о том, как перед выборами ему внезапно ночью позвонил тогда всесильный Панлевес, правая рука диктатора Дюкане. Он просил добыть ему рекомендательное письмо к корсиканцам, у которых сильны еще наполеоновские традиции, от принца Наполеона, находившегося в Брюсселе. Пришлось уважить просьбу, и бонапартисты вскладчину отправили в Бельгию курьера. Курьер привез письмо, но вскоре оказалось, что Панлевесу Корсика была нужна лишь для отвода глаз от Бордо, где он решил вырвать победу. Имея в руках это письмо, в ореоле своего все-

властия Панлевесу удалось заставить себя слушать бордоского епископа, — и вот он — депутат наикатолической Вандеи!

И с ним Лагишу пришлось вести беседу. Ему, социалисту, пришлось выслушать авантюриста и даже соглашаться...

Политика — есть политика...

Но ухо не переставало жечь.

— Ваше превосходительство...

Лагиш поднял глаза. В дверях стоял голый негр.

— Господин министр, вас просят к телефону.

— Меня?

Он рад был освобождению. Скорей из этой темной комнаты. Где Колибри? Найти ее, схватить, измять и забыть дела, политику, скрипучий, ядовитый голос Панлевеса.

— Итак, смею надеяться...

— Да-да, конечно...

Только у телефона, в кабинете покойного Мопы, Лагиш пришел в себя.

— Я слушаю.

.

— Ах, это ты, малютка?

Он слушал долго, улыбаясь, потом крикнул с самодовольным видом:

— Ну хорошо, в час я буду у тебя.

И, бросив трубку на рычаг, увидел Виньело.

Художник сидел за письменным столом в полном одиночестве. Перед ним стояла бутылка рома и чашка кофе. Он с видимым удовольствием собирался закурить сигару.

— А, господин министр! — крикнул он. — Ваше превосходительство, не скажете ли мне, с какого конца обрезают сигару?

Лагиш, смеясь, подошел к художнику. Телефонный разговор вернул ему хорошее настроение.

— Давайте, я вам покажу, — и через мгновение восклик-

нул: — Ба, да вы курите те же сигары, что и я!

Конечно, в серебряной бумажке и на бандерольке «Non plus ultra».

— Такие же, как ваши?

— Ну да, совсем такие. Я сам их начал курить недавно.

— И Лагиш вынул из бокового кармана золотую сигарницу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ — СВЯЩЕННАЯ ЖЕРТВА

В особняке на улице Марбефф веселились. Шатер стоял от топота и музыки, укромные уголки полны были сдержанного шепота и придушенных вскриков, в столовой у столов скрипели челюсти.

М-me Мопя появлялась всюду, как добрый гений. За нею увивался хвост поклонников. Панлевес со своей сдержанной иезуитской улыбкой рассказывал скабрёзные истории из интимной жизни некоторых высоких особ. Один знатный эмигрант царской крови, уныло озиравший с высоты своего сажённого роста танцующих, внезапно набросился на одну актрисочку, едва прикрытую газом, и больше с ней не расставался. Лагиш незаметно исчез после того, как, поймав Колибри в одном из переходов, он добился обещания встретиться с ней завтра «по важному делу».

Ванбиккер был особенно благожелателен. Стоя перед Панлевесом и держа в руках недопитый бокал, он смеялся нутряным, лающим смехом, от чего вся его квадратная фигура сотрясалась, как тысячесильное динамо. Положительно, этот вечер ему очень нравился. Он никогда так не веселился, не чувствовал себя таким беззаботным. Все шло как нельзя лучше. Его дочь — Эсфирь — была сегодня в особенном ударе. Одним глазом и одним ухом Ванбиккер следил за производимым ею впечатлением. Ее едкие замечания, остроумные ответы вызывали сенсацию.

— Ваша дочь неподражаема, — говорили ему со всех сторон.

Но особенно дорого было внимание Панлевеса. Этот че-

ловек, пользующийся крупным влиянием в бюрократическом и парламентском мире, человек, в руках которого было столько запутанных нитей, столько чужих тайн, особенно интересовал миллионера.

Но Эсфирь едва отвечала на вопросы Панлевеса. Все ее внимание было обращено на никому не известного мужчину в белом бурнусе. Она явно была им заинтересована. Когда он удалялся, она следила за ним глазами.

— У этих девчонок свои причуды, — ворчал себе под нос Ванбиккер.

М-те Мопя вскоре рассеяла его сомнение.

В наступившей по данному знаку тишине, она объявила, что через несколько минут желающие могут присутствовать на сеансе гипнотизма и чтения мыслей известного гипнотизера и мага, приехавшего из Африки Абдаллы-Бен-Сид-Мустафы, и указала на человека в белом бурнусе.

Он поклонился, прижав руку ко лбу и груди. Эсфирь зааплодировала; ее примеру последовали другие. Мустафа торжественно проследовал в комнату с арабесками. За ним вышли еще двое — женщина, закутанная с ног до головы в желтый хаик, и высокий мужчина в костюме александрийского фокусника.

У треножника, где горел неугасимый огонь — алые ленты, освещенные снизу и приводимые в движение электрическим вентилятором, — все трое остановились.

Мустафа шепотом спросил о чем-то александрийского фокусника. Широко улыбаясь, этот последний достал из-за ворота смятый клочок бумажки и протянул ее арабу.

Все трое склонились над веющими лентами, над неугасимым огнем, точно жрецы, готовые приступить к священной жертве.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ — РОМАНТИЧЕСКАЯ

Флипотт стояла за кулисами в короткой тунике, в розовом трико и белой атласной треуголке на голове и смотре-

ла на сцену. Она выступала в этом «Обозрении» сто пятнадцатый раз и все-таки волновалась. Двумя пальцами левой руки она держала две сухие горошины и перекатывала их — если ни одна горошина не упадет, все обойдется благополучно.

Сегодня ей подадут корзину белых лилий от господина, с которым у нее было «деловое свидание». Завтра она покажет новое платье... Пожалуй, можно было бы расстаться с Лагишем, если дело пойдет так же, как началось. Странно только, откуда этот господин все знает. И зачем ему нужно было, чтобы она сегодня вечером вызвала Лагиша к Мадлен? Чтобы предотвратить скандал с Виньело? Но не проще ли было бы...

— Осенью ты уедешь в Италию или Тироль, — прервала ее размышления Мадлен. — Нужно сразу приучить твоего нового милашку к тому, что тут не отделаешься пустяками. Мужчины, как бы они ни были богаты, всегда рады увильнуть от своих обязанностей, и нам нужно напоминать о них. Чем дороже мы себя ценим, тем привлекательнее мы им кажемся. Расчетливость хороша только с законным мужем.

Флипотт задумалась на некоторое время, быстро перекатывая свои горошины. Наконец, она ответила:

— Все это так, но я боюсь, что мои дела помешают мне видиться с Этьеном. А ты знаешь, как это тяжело для меня...

— Конечно. Но что же мешает тебе целоваться с ним, когда это тебе нравится? Когда едут в дальнее путешествие, берут с собой все необходимое. Нужно только уметь устраивать свои дела.

Последние слова Мадлен договорила на сцене. Она начала кружиться, раскачиваться на одном месте и улыбаться в публику. У Мадлен — полные бедра и икры, которые нравятся мужчинам. Туника у нее короче, чем у других, — она делала свое дело, как человек, знающий себе цену.

Флипотт изящнее и гибче. В ее танцах больше стыдливости и сдержанности.

— Можно подумать, что ты танцуешь на балу у мона-

стырок, — говорила ей Мадлен. — Никакое жиго не возбуждает аппетита, если оно плохо подано.

В конце акта капельдинер вынес на сцену корзину белых лилий и подал ее Флипотт. Девушка стояла и кланялась, краснея под гримом, чувствуя, что на нее смотрят товарки завистливыми глазами.

— У этой девчонки совсем нет такта...

Конечно, это прошипела премьерша, больше недели не получавшая подарков.

«Ах, боже мой, боже мой, лучше бы он этого не делал».

Флипотт остановилась в темном углу со своей корзиной цветов. Корзина была одной высоты с танцовщицей и очень тяжела. Девушка нюхала цветы, пахнущие дурманом и болотом. Их влажный запах казался ей таким сладким, душевным и вместе с тем таким печальным.

Нужно было идти переодеваться, но Флипотт не двигалась. Она сама не знала, что с нею... Дом, старуха-мать, Лагиш, новый поклонник, Этьен... Почему их нельзя примирить, соединить в одно так, чтобы стало все легко и просто?.. Как бы она тогда была счастлива. Иметь свой дом, своих близких рядом и любимого человека... и потом быть обеспеченной...

Флипотт трудно было делить себя между ними всеми, а иначе она не могла... Голова ее чуть кружилась от запаха. Она закрыла глаза на мгновение и внезапно услышала рядом с собою:

— Наконец-то я нашел тебя.

Она испуганно дернула головой и увидела в полусвете кулис фигуру Этьена Виньело. Он стоял перед ней в широченном своем пальто, с тростью в руке, в мягкой широкополой шляпе, сдвинутой на затылок.

Он смотрел на цветы и говорил медленно, точно подбирая слова, подыскивал выражения.

— Видишь ли, я пришел сюда, чтобы поговорить с тобой... Дело в том, что сегодня на вечере у Мопя я закурил твою сигару, и мне пришли в голову некоторые мысли... о сигаре...

Флипотт все еще отсутствовала, она ширила глаза, ста-

раясь понять:

— О сигаре?

— Да, о ней... Я спросил себя — где ты могла ее достать...

— Где я ее достала?

— Да... Этот вопрос я задал себе несколько раз... И должен тебе признаться, он не был мне приятен. Потому что, потому что, — ты понимаешь сама, сигара не всегда найдется у молодой девушки... Это редкий случай...

Он оборвал на полуслове. Некоторое время оба молчали, глядя на цветы, стоящие между ними.

Наконец, Флипотт произнесла едва слышно:

— Но я могла купить ее...

— Конечно, — перебил ее художник, — я так и отвечал себе: просто она взяла и купила ее в табачной лавке. Но в том-то и дело, что ты ее не купила. Об этом не стоит говорить... Ты ее не купила... Надо понимать толк в сигарах, чтобы купить такую...

— Что?..

Флипотт сделала слабое движение. Она вспомнила о сумочке. Там лежит большая груша, — она хотела подарить ее Этьену — теперь этого не нужно делать...

Никогда не нужно будет...

И этот пустяк, эта мелочь наполнили ее безнадежностью. Слезы появились у нее на подкрашенных ресницах, озноб прошел по телу.

Она стояла перед Виньело и беззвучно плакала. Этого никто не мог бы понять. Это самое непоправимое, самое мучительное. Ей не в чем оправдываться, ей не хочется лгать. Она никогда больше не принесет ему маленького подарка. Ему не нужно. Пусть он отвечает на свой вопрос, как ему угодно.

— Вот, — говорил художник, тупо глядя на цветы, — я за этим и пришел сюда. Я хотел сказать тебе, что ты не могла купить сигару... и видишь ли, это не очень приятно, этот пустяк расстроил мне нервы... В конце концов, я могу курить папиросы, если только они мне по средствам... но, понимаешь ли, сигары, чужие сигары... это чересчур даже для

меня... для такого художника, как я... которого можно судить за порнографию... Понимаешь?

Правая щека его дернулась — у него это бывало всегда, когда он нервничал. Сомбреро съехало еще ниже на затылок.

Но почему он говорит так долго? Что ему нужно?

— Мне пришлось обегать несколько магазинов, пока я нашел такую точно...

Он пошарил у себя в глубоких карманах пальто и вынул сверток.

— Здесь две, — сказал он, неловко тыча сверток в корзину с лилиями. — Две, — повторил он отрывисто.

И оборвав, почему-то стал дуть на лепесток цветка.

Флипотт стояла неподвижно, газовые воланы юбочки едва колыхались у ее бедер, как лепестки лилий.

— Вот, — снова сказал Виньело, глядя куда-то мимо, в кулисы, резко повернулся и пошел торопливо в глубь коридора, к выходу. Там на мгновение остановился и тотчас же исчез, хлопнув дверью.

Она растерянно смотрела ему вслед. Голова ее отказывалась понимать.

Ну, да, конечно, он пошел к себе домой и примется за работу... Как вчера, как много раз... Но почему же ей не пойти туда же?

Флипотт оставалась недвижимой, думая об этом, несколько мгновений, но ей показалось, что прошла вечность. Оцепенение тотчас же уступило ужасу, паническому страху.

Она кинулась в сторону, к кулисам, пытаясь крикнуть, но не хватило голоса. Тогда она побежала к дверям, в которые он только что вышел. Распахнув их, она бросилась в темноту и оступилась на первой ступеньке лестницы, круто спускающейся вниз. Оглушенная падением, она попыталась встать, но острая боль в ноге приковала ее к месту. Бесконечная слабость разлилась по всему телу.

— Ах, да — сигара... сигара... в серебряной бумажке... — шептала Флипотт.

Она взяла одну из красивой коробки слоновой кости... В тот раз не было ничего другого у Лагиша... Но кто же мог

знать, что так случится, что этого не нужно было делать... Она думала, что все-таки это может доставить удовольствие, маленькое развлечение, когда куришь такую сигару... такую большую толстую сигару...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ — МАШИНА ГОСПОДИНА ДЕПУТАТА

Скандал принял совершенно потрясающие размеры. Иные требовали вмешательства полиции (это социалисты, товарищи Лагиша), иные взволнованно призывали к порядку и уверяли всех, что это не что иное, как глупая шутка (это биржевики во главе с Ванбиккером), иные, держась за жivotики, хохотали до колик, до истерики (это кое-кто из политических приверженцев Дюкане, незнакомых с его биржевыми связями, и просто люди, любящие скандалы). Аплодисменты соревновались со свистом, крики «браво» — с воплями: «Вон! долой! шарлатаны».

— Вот вам ваши социалисты, — говорила торжествующая Эсфирь, блестя возбужденными выпуклыми глазами.

Лейтенант Самойлов, к которому обращены были эти слова, разводил лишь руками: ни в какой мере он не мог считать социалистов своими.

— Не понимаю, почему папа был так любезен с этим выскочкой Лагишем. Нужен хороший фашистский кулак, чтобы в стране наступило успокоение, — продолжала m-me Ванбиккер. — Я глубоко убеждена, что Мустафа... — она не договаривала, как и ее отец.

M-me Мопя, бледная, маленькая, переходила от одной группы к другой, пытаясь утихомирить разбушевавшиеся страсти. Но она сама чувствовала, что это бесполезно. Скандал приобретал характер сенсационный и мог иметь весьма нежелательные последствия.

Она отвела в сторону Ванбиккера, воспользовавшись минутой успокоения.

— Что вы думаете об этом, мой друг?

— Я думаю, что нужно, во что бы то ни стало, ликвидировать историю в самом зародыше. Кто этот Мустафа?

Эрнестина растерянно пожала плечами:

— Я, право, не знаю. Его рекомендовал мне де Бизар. Я никак не думала, что его проницательность дойдет до таких размеров. Его медиум — кажется, дама из общества — передала разговор Панлевеса почти дословно.... судя по смыслу его, который мне был известен раньше.

— Нужно было задержать этого человека.

— Но мы так растерялись. Он исчез внезапно. И потом, в чем его можно обвинить? Мы сами просили его отгадывать наши мысли... Он так верно предсказал вашей дочери, — мы все были поражены...

— Да, да, конечно... Все это так. Но мне не нравится поведение Панлевеса. Он даже не пытался возражать. Он только улыбался своей ехидной улыбкой, когда медиум передавала его диалог с Лагишем.

— Неужели вы думаете — Панлевес способен на шантаж?

— На шантаж — не знаю, но на двусмысленное молчание — да. Этот человек ничем не брезгует, он — вне партий и совершенно не заинтересован материально. Он живет на гроши — одним честолубием. В один прекрасный день, когда он решит, что настал удобный момент — новое разоблачение будет им оглашено в Палате.

— Не поговорить ли мне с ним?

М-me Мопа, приподымаясь на кончики пальцев, всматривалась в волнующуюся, кричащую, хохочущую толпу.

— Попробуйте, — ответил Ванбиккер неопределенно, — но предупреждаю вас: с ним нужно быть осторожным.

Его занимали новые мысли и соображения. Нужно было принять предосторожности, кое о чем позаботиться, дать соответствующие директивы своим многочисленным агентам, повернуть громоздкое судно своих предприятий по новому направлению. Даже среди масок, под звуки джимми, Ванбиккер не изменял своим привычкам. Так была устроена его голова.

Но м-me Мопа не удалось найти Панлевеса.

Воспользовавшись общим смятением, он незаметно про-

скользнул в переднюю, разыскал свое пальто и вышел. Едва уловимая улыбка дергала края его сухих губ. Вся его худая согнутая фигура точно оцетинилась. Мысленно он видел себя на кафедре в Палате; в воздухе чувал очередной министерский кризис, готовился к жестокому бою. Правда, это шло вразрез с замыслами Дюкане, который нисколько не хотел падения Лагиша, а, напротив, способствовал его укреплению по мотивам особого характера, но, раз их затея сорвалась или почти сорвалась, следовало идти в контратаку. Панлевеса увлекала лишь сама игра, он мог быть чьим-либо сторонником только в тех случаях, когда это вело к какой-нибудь парламентской склоке. Дюкане был необходим Панлевесу, как твердая опора, но как только представлялась возможность создать бум, хотя бы во вред Дюкане, Панлевес, не задумываясь, мог предать последнего. Серьезные затруднения французской политики его мало трогали. Пусть перед страной стоят такие вопросы, как падение франка, отношения с Англией, Панлевес — этот гений парламентского «искусства для искусства» — с азартом игрока продолжал плести свою тонкую паутину, продолжал издеваться над терпением шестисот своих сотоварищей, не уставал вызывать скандалы и оставаться хозяином положения.

— Машина господина депутата Панлевеса!

Швейцар распахнул перед ним дверцу каретки. Не отрываясь от своих мыслей, с застывшей улыбкой, никого не замечая, Панлевес сел в автомобиль, тотчас же пошедший полным ходом. Депутат плел новую сеть, в которую неминуемо должны были попасть те, кого он наметил в свои жертвы. Улыбка все явственнее дергала его рот.

— Monsieur!

Панлевес вздрогнул. Он поднял голову. Из темноты блестели чьи-то глаза. Депутат потянулся дрожащей рукой к ключателю. Вспыхнул свет.

Панлевес открыл рот. Рядом с ним сидела дама в бальном манто. Под манто виден был ее восточный костюм. Она расхохоталась ему прямо в лицо.

Парламентский гений давно перестал интересоваться

женщинами. Он почти забыл об их существовании, не замечал их вовсе. Незнакомка привела его в полное замешательство.

— *Madame*, — пробормотал он, — позвольте узнать, чем я обязан...

Его прервали со смехом:

— Только тем, что мне захотелось поговорить с вами.

— Но я не понимаю...

— Сейчас поймете. На вечере у *m-me* Мопя мне это не удалось сделать: вы были так заняты. Тогда я решилась на маленькую эксцентричность. Я села в ваш автомобиль и стала ждать...

— Я, право, поражен...

Панлевесу чужды были романтические бредни. В общезжитии он редко умел найтись, несмотря на всю свою казуистическую изворотливость в Палате.

— Вы слишком скромны, господин Панлевес. Почему вы не допускаете мысли, что вами могла заинтересоваться женщина?

— Вы шутите, *madame*, — беспомощно возразил депутат. — Я хотел бы все-таки узнать более точно цель вашего пребывания здесь.

— О, ла, ла! вот это называется говорить серьезно. Хорошо! Я скажу вам точно: мне нужно, чтобы вы удостоверили один документ. Ничего больше.

— Какой документ?

— Маленькую стенограмму разговора, имевшего место сегодня ночью у *m-me* Мопя. Разговора между неким министром и депутатом.

Панлевес слушал, не порываясь возражать. Он все больше овладевал собою. Его занимал в настоящее время один вопрос: чем грозит для его репутации эта авантюра. Если только вымогательством, то он готов был вынуть свой бумажник — при нем никогда не было больших сумм. Если же это ловушка его политических противников, то нужно незаметно дернуть шнурок к шоферу, у которого всегда был при себе револьвер. Сам Панлевес питал физическое отвращение ко всякого рода оружию. Он пристально всматри-

вался в свою неожиданную спутницу. Его острые глаза паучьими щупальцами ползали по всей ее фигуре. Но на свою физическую силу и ловкость Панлевес не особенно рассчитывал. Он решил бороться привычным оружием.

— Не кажется ли вам, сударыня, что автомобиль не совсем удобное место для подписания каких бы то ни было документов? Вы очень обяжете меня, если сообразовались заехать со мною в мое скромное жилище, — сказал он в своем обычном сдержанном, вежливом тоне.

Женщина продолжала улыбаться, не отводя блестящих глаз.

— Я охотно исполнила бы вашу просьбу, господин депутат, — в тон ему отвечала она, — если бы располагала достаточным временем, но, к сожалению, мне нужно торопиться. Утренние газеты выходят в шесть часов. В настоящую минуту без четверти три. Мой документ нужно доставить в редакцию, набрать...

Панлевес перебил ее раздраженно:

— Но я полагаю, что раньше всего мне следует ознакомиться с этим документом.

Он протянул руку.

— Его содержание знакомо вам не меньше моего. Стенограмма точна до последней запятой, — отвечала она, — но я охотно дам ее вам для проверки...

Она достала из сумочки сложенную вчетверо бумажку. Глаза ее все еще лукаво поблескивали.

Панлевес схватил бумажку, одновременно дергая шнурок к шоферу.

Раскатистый звонкий смех заставил его вздрогнуть. Незнакомка смеялась полным ртом, как смеются распалившиеся дети. Автомобиль остановился.

Панлевес пробормотал смущенно:

— Вы просто дурачитесь, сударыня? У вас нет никакого документа?

— Ничуть. Разверните эту бумажку, и вы увидите. Но дело в том, что у меня имеется копия, на всякий случай. Жан!

Дверца звякнула. В каретку заглянуло незнакомое лицо

в шоферских окулярах* и кожаной шапке.

— Этот господин не верит, что у нас имеется копия документа.

— Позвольте...

Панлевес приподнялся, зеленея, почти теряя сознание от испуга,

— Уверяю вас... у меня нет денег...

Он сам не понимал того, что говорит.

Незнакомка взяла его за руку и опустила на диван.

— Не волнуйтесь, мой друг, — сказала она совершенно спокойно, — никто не хочет вам причинить какие-нибудь неприятности. Мы не воры, не грабители, не авантюристы. Ваши деньги и жизнь нам не нужны. Мы лишь исполняем свой долг. Жан, ступай на место — едем дальше. Я сама сговорюсь с господином депутатом.

Автомобиль рванулся вперед. Панлевес, тяжело дыша, тер похолодевшими пальцами вспотевшие плоские виски. Мысли медленно приходили в порядок. Он понимал, что сопротивление бесполезно, и пытался найти из всего происшедшего наиболее удобный для себя выход.

— Но что же вам от меня нужно? — наконец, пролепетал он.

— Ничего больше того, что я вам уже сказала. Подпишите эту стенограмму. Прочтите ее, вы увидите, что в ней нет ни одного лишнего слова. Вас этот документ не может скомпрометировать. Вы действовали, как должен был действовать каждый политический противник Лагиша. Если он сдался на ваши уговоры, то пойман он, а не вы. В конечном счете, не станем лукавить, господин Панлевес. Вы сами и без нашей помощи припрятали бы на случай этот камень. Ведь для вас парламентская игра интереснее каких бы то ни было политических программ. Кто этого не знает?

Приходя в себя и не переставая взвешивать свое положение, Панлевес нерешительно возразил:

— Но в данном случае этот камень вырываете вы у меня и бросаете сами.

* Очки.

Незнакомка прервала его со смехом:

— Мы только безымянный пращ в ваших руках. Вся честь скандала будет принадлежать вам. К тому же, развитие начатого действия в Палате всецело зависит от ваших блестящих способностей, в которых мы не сомневаемся.

— Предположим. Но сейчас я действовал не от своего имени и даже не в своих личных интересах.

— В интересах Дюкане? Я знаю. Что же! Несколько крупных промышленников, несколько предприятий обанкротятся — только и всего. Что вам до этого? Зато какой блестящий скандал! Какая европейская сенсация!

Панлевес почти сдавался. Иного выхода не было. С Дюкане приходилось рвать и действовать на свой страх.

— Но в чьих же интересах действуете вы? Вы — монархисты?

Он уже готов был войти в новую сделку.

— О, нет! — воскликнула все так же весело незнакомка. — Наше инкогнито пусть вас не пугает. Мы действуем также на свой риск и страх. Достаточно того, что наш общий враг — Лагиш.

— Вы против автономии колоний?

— Мы лишь за решительные действия.

Панлевес умолк и через несколько мгновений сказал решительно:

— Будь по-вашему. Давайте стенограмму — я подпишу ее.

В три часа десять минут ночи на девятое ноября Ванбиккер по прямому проводу говорил с Марселем.

— С сегодняшнего дня акции растут. Попытайтесь захватить биржу до оживления. Сделаю все возможные оттяжки. Дайте передовую о твердости политического курса нового министерства. Парижская биржа в работе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ — ОБ ОДНОМ УВАЖАЕМОМ РЕДАКТОРЕ

Поль Батард пользовался всеобщим уважением. Его убеждения были незыблемы и прямолинейны. Со скамьи «Нормальной школы» — которую он кончил первым — до седых волос Батард ни в чем не изменился. Республиканец, радикал, националист, неподкупный раб идеи, трибун-журналист, всегда стоящий на страже гражданственной справедливости — он олицетворял собой человека, для которого не было ни в чем двух мнений. Он не знал колебаний. Его приговоры были безапелляционны, сужденья — непрекаемы. Он был образцом честного мещанина, вкусы и привязанности которого определяются с пеленок. Каждый буржуа, сидя у себя за плотным завтраком, каждый консьерж, не расстающийся с вольтеровским креслом, любой табачный торговец — проверяли линию своего поведения по передовицам Поля Батарда, являвшегося подлинно голосом их совести. Так приятно было каждому находить свои идеи на странице почтенной газеты, изложенными со всей грузной аргументацией и тяжеловесной добротностью стиля, какие сами в себе как бы определяют благонамеренное глубокомыслие.

Характерную фигуру Поля Батарда — редактора «Блага народа» — с почтением узнавали всюду. Львиная грива седых волос, густая веером борода, львиный широконоздрый нос, оседланный золотым пенсне на черной широкой ленте, открытый лоб с двумя поперечными морщинами, не изменный черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, острые концы отложного крахмального воротничка, широкие чуть приподнятые плечи, прищуренный быстрый взгляд близоруких глаз, уверенная поступь убежденного в своей правоте человека. Таков был Поль Батард, вот уже второй десяток лет ведущий официозный орган центра. Акционеры «Блага народа», из которых главным ответственным издателем был Ванбиккер, могли спокойно положиться на него, зная, что он никогда не свернет с пути, как вол, впря-

женный в плуг. Поль Батард не знал закулисных махинаций, он даже не знал, что многие статьи, помещенные рядом с его передовицами, оплачивались его политическими противниками. Он не заглядывал на страницу объявлений, которой ведал Франсуа Раке — управляющий конторой, доверенное лицо акционеров. Поля Батарда нельзя было упрекнуть в неискренности, и на любом процессе он смело мог защищать неподкупность и целомудрие своего органа, потому что верил в это сам.

Когда Дюкане подал в отставку и портфель министра-президента предложен был Лагишу — Батард разразился громовой статьей. Он негодовал. Он предвещал гибель Франции. Он призывал всех честных патриотов сплотиться для спасения родины. Он указывал на падение франка, на грозящий финансовый кризис — он угрожающе напоминал об ослаблении французского влияния в Африке, где, с момента объявления автономии колоний, Англия поведет агрессивную политику.

Акционеры «Блага народа» пожимали ему сочувственно руки.

— Мы счастливы, что ваше благородное слово раздается со страниц нашей газеты, — говорили они.

— О, старик Батард знает, когда нужно поднять свой голос, — говорили буржуа за своими прилавками, консьержи в своих креслах, — он настоящий патриот. Вот кому следовало бы быть министром!

И спазмы умиления, довольства собой сжимали им горло.

А на четвертой странице «Блага народа» они с любопытством читали пространную биографию Лагиша и интервью с ним «собственного корреспондента». Лагиш, оказывается, с пеленок проявлял склонность к политике и любовь к свободе. Это бы мальчик с исключительными способностями.

— Такой далеко пойдет, — подмигивая, замечали почтенные читатели.

Для Поля Батарда не существовало компромисса. Он признавал лишь честный открытый бой. Его перо с удвоенной

энергией носилось по бумаге — разя, избличая, клеймя. Последние дни он не покидал редакции. Как неутомимый кормчий направлял он путь своего корабля. Груды окурков валялись на его рабочем столе и полу. Сторож, отставной сержант на деревянной ноге — Некасе — через каждые пять минут носил ему стакан черного чая. Батард глотал его, не глядя, и снова устремлялся на врага. Внизу гудели ротационные машины, в соседней комнате трещали телефоны, сотрудники приходили и уходили, в конторе спали дежурные барышни-переписчицы, часовая стрелка бежала к четырем утра, — Батард все еще не вставал с своего кресла, не снимал рук с рулевого колеса.

Внезапно его заставил поднять голову скрипучий, осевший от сна голос Некасе. Сержант, почесывая голову, стоял перед письменным столом.

— Да-да еще чаю, — машинально ответил Батард, готовый снова приняться за перо.

— С чаем можно бы подождать, — возразил сторож, — стакан-то у вас еще полный, а вот к вам барышня пришла...

Некасе презирал женщин в такой же мере, в какой преклонялся перед Батардом.

— Я сказал ей, что вы ее вряд ли примете...

Редактор снял пенсне, протер его, надел снова и только тогда вернулся к действительности.

— Барышня?

— Так точно.

— Молодая?

Батард сам удивился своему вопросу не в меньшей мере, чем Некасе.

— Молодая, — растерянно прохрипел тот.

— Да.

Они помолчали оба. Потом Батард поспешно схватил перо и стал писать.

— Так как же с барышней? — опять спросил сержант.

— Что?

— Да с барышней. Сказать, что заняты?

— С барышней?

Батард снова положил перо, рванул седую бороду и ска-

зал решительно:

— Если с просьбой — гони в шею.

Некасе крикнул удовлетворенно и исчез, но через минуту появился снова. За ним показалась женская фигура.

— Они по важному делу, — закричал он, точно на боевом поле, пытаясь руками загородить дверь.

Батард свирепо взъерошил волосы.

— Сударыня, я занят.

Но незнакомка стояла рядом. Это была вполне приличная дама, нисколько не похожая на попрошайку. Она улыбалась почтительно и смущенно.

Батард, прищурясь, пытался вспомнить, кто она.

— Простите, господин редактор, — произнесла вошедшая. — Если я тревожу вас в такой неурочный час, то только потому, что дело мое первостепенной важности, не терпит отлагательства. Вы мне позволите?

Она села, все еще с улыбкой глядя на Батарда.

— Прошу вас.

Редактор одернул сюртук, поправил пенсне, смахнул окурок на пол.

— Ступай, Некасе, ты мне не нужен. Итак, я слушаю...

Сержант пошел за дверь, стуча демонстративно деревяшкой. Он был оскорблен за себя и своего патрона. Он протестовал. Женщина осквернила святость места, где творил его бог. Но неожиданно рокочущий глас заставил Некасе вскочить. Он опрометью кинулся в кабинет патрона.

Батард стоял у своего стола, размахивая листками, на которых еще не высохли чернила.

— Некасе! — кричал он. — Ты сейчас это снесешь в типографию.

Грива редактора торчала дыбом, борода распушилась, ноздри раздувались. Он бил возбужден до крайности.

— Madame, — говорил он, — газета вам обязана огромной важности сведениями, которые, несомненно, успокоят большинство честных граждан. Я не знаю, как благодарить вас.

Он тряс ей руки.

— Передайте мой искренний привет вашему супругу,

профессору Нуазье, с которым я имел удовольствие неоднократно встречаться на заседаниях Института.

М-me Нуазье отвечала с улыбкой:

— Я рада была услужить вам, господин редактор.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ — КАК УПРАЖНЕНИЕ В ДИАЛЕКТИКЕ

В четыре часа утра наборщики, смеясь, заканчивали набор экстренной заметки, которую прислал Батард для помещения в утреннем номере сейчас же вслед за передовой.

Заметка была озаглавлена:

БЛАГОРАЗУМИЕ ВЗЯЛО ВЕРХ

Она начиналась так:

С чувством глубокого удовлетворения спешим сообщить нашему дорогому читателю, что и на этот раз гений Франции вовремя остановил ее на краю пропасти, в которую хотели низвергнуть нашу родину безответственные элементы, явно играющие в руку врагам. Из достоверных источников, не подлежащих сомнению, стало известным, что новый министр-президент Лагиш заявил в одной из бесед с политическим деятелем о том, что он ни в какой мере не сторонник демагогических приемов в вопросах как внешней, так и колониальной нашей политики. Не упуская из виду конечной цели, являющейся одним из основных пунктов программы его партии — автономии колоний, — он отнюдь не собирается проводить в жизнь новые законоположения декларативным путем. Он сторонник правомерных, обдуманных действий, основанных не на ломке, а на спокойном систематическом изучении факторов, благоприятных для реформ...

Далее следовал целый ряд умозаключений самого Батарда, ряд доказательств, направленных к тому, что настоящий момент общеевропейской конъюнктуры, конечно, не может быть признан удобным для решительных действий.

Кончалась заметка бодрым призывом:

Итак, благоразумие восторжествовало вновь. Даже социалисты, едва они коснулись кормила власти, — поняли, что с одними демагогическими лозунгами далеко не уедешь. Мы вовсе не противники прогресса. Мы всегда стояли на страже справедливости и защиты интересов угнетенных народностей, но ни одна любящая мать не станет, во имя свободы своих детей — сразу и безоговорочно отказываться от своих законных родительских прерогатив. Граждане, вот вам пример бескорыстной любви к родине. Мы можем это сказать с легким сердцем, несмотря на то, что m-г Лагиш остается нашим политическим противником. Он поступил, как настоящий француз и патриот. Пример, достойный подражания!

Заканчивая набор этих патетических строк, типографские рабочие передавали друг другу только что присланный в типографию листок, обращенный к ним, с жирным заголовком:

СОЦИАЛИСТ-ПРЕДАТЕЛЬ

Товарищи!

Прочтите эту стенограмму, не требующую комментариев. Вы сами сумеете оценить господ, называющих себя социалистами и требующих к себе доверия пролетариата. Стенограмма записана нашим товарищем на вечере у известной владелицы банкирской конторы Мопа и передает разговор нашего нового министра-президента социалиста Лагиша с депутатом Департамента Вандеи — провокато-

ром, монархистом и личным другом экс-премьера Дюкане Панлевесом.

Дальше следовал точный диалог Лагиша с Панлевесом. Тонкий искусник так умело расставил сети, что министр тотчас же был пойман. Лагиш дал ему слово ограничиться лишь туманными намеками на колонии, обещая назначить комиссию для выработки положений, а в ближайшее же время руководствоваться прежней программой — во имя экономического возрождения страны. Панлевес указал министру на угрожающие симптомы забастовки в связи со слухами об автономии, на обесценение наиболее значительных правительственных концессий, на трудное положение, в какое может попасть частный капитал. За отказ от решительных мер Панлевес обещал новому кабинету поддержке центра — большинство в Палате. В противном случае... Здесь следовал ряд угроз, исполнение которых было очевидно и неизбежно. Лагиш спустил флаг. Лагиш пошел на капитуляцию. Лагиш не мог не сделать этого, если хотел бороться парламентарным оружием, если хотел спасти себя, свою партию и кабинет. Лагиш не мог выйти бороться на улицу. Лагиш был культурным политическим деятелем. Идея парламентаризма торжествовала — «рабочее» правительство было спасено.

Подлинность диалога свидетельствовалась подписью Панлевеса. Товарищи могли убедиться в этом, если желали. Подлинник документа хранится в редакции газеты «Рабочий». Товарищам предлагается...

.

В пять часов утра Ванбиккер с дочерью возвращались с вечера m-me Колибри. Эсфирь дремала, откинув голову на серый бархат каретки, старик глядел бодро — он твердо держал новый курс. У редакции «Блага народа» он приказал шоферу остановиться. Сотни газетчиков длинной цепью

тянулись вдоль тротуара. На грузовики кидали пачки только что отпечатанной газеты.

Ванбиккер крикнул, чтобы ему дали номер. Развернув его и пробежав глазами первую страницу, он внезапно сорвался с места и кинулся вверх, в помещение редакции.

— Батард, — кричал он. — Где Батард? Немедленно вызывать его ко мне!

Некасе, зеленый от усталости, застучал деревяшкой в кабинет редактора.

— Он здесь, господин директор, — бормотал сержант, — m-г Батард еще не ложились.

Ванбиккер ворвался вслед за сторожем, как снаряд из двенадцатидюймового орудия.

— Вы! вы! — кричал он, ничего перед собою не видя. — Кто вам позволил печатать эту идиотскую заметку?

Батард поднял от стола свое усталое, помятое лицо. Пенснэ его запотело. В голове бродили сонные мухи.

— Господин директор, — начал он, приподымаясь.

— Да, да, господин директор! — перебил его Ванбиккер.

— Я — директор! А вы, позвольте узнать, кто такой?

— Я...

— Вы редактор? Вы не редактор, а осел...

— Что?

— Осел, милостивый государь, который ничего не видит дальше своего носа. Как смели вы печатать заметку о Лагише? О каком-то его благоразумии. Как смели, я вас спрашиваю?

— Но у меня есть неопровержимые доказательства, — начал было Батард, придя в себя.

— Доказательства?

Ванбиккер грузно повалился в редакторское кресло. Ноги его дрожали от бешенства. Батард стоял перед ним, как низверженный Саваоф, в ореоле своих седых волос.

— Я полагал бы, господин директор, что раньше, чем говорить со мной в таком тоне, вам следовало бы...

— Мне следовало бы взять вас за шиворот и выкинуть вон — вот что! — отрезал Ванбиккер.

Он не хотел стесняться, не находил это нужным. Ба-

тард мог обижаться, сколько ему угодно. Плевать ему на то, что у Батарда какое-то имя.

— Вы погубили наше дело, милостивый государь! Из-за своей дурацкой политики вы забыли интересы фирмы. Фирмы! Слышите вы! которые важнее в тысячу раз всякой политики. Нам нужен был срок до декларации. Понимаете? Франк должен был падать до декларации! Кто просил вас предупреждать события?..

Батард молчал. Пенсне прыгало на его львином носу. Ноги его приклеились к полу, в голове клокотал горячий вихрь. Он поднял было руку... Нет, сама рука, отяжелев, внезапно потянулась к лицу Ванбиккера. Редактор отвел ее с трудом назад.

— Я не позволю, — прохрипел он, едва открывая склеенные губы.

Но Ванбиккер уже встал, повернулся спиной и кричал в трубку.

— Да, да... Начальник полиции? Да! Говорит Ванбиккер! Прошу вас немедленно дать распоряжение конфисковать номера «Блага народа».

.

— Ну да, мою газету! Мою! Поняли?

И по другому телефону:

— Типография? Задержать отправку. Пустить в машину срочно добавление. Составить... Что? Да, запишите... Опровержение... Что?.. Не будут? Как не будут?.. Отказываются набирать?.. Что?.. Забастовка?..

ТРЕТЬИ СУТКИ
СЦЕНАРИЙ ФАРСА

ГЛАВА ПЕРВАЯ — КАК РЕАГИРУЮТ ЖЕНЩИНЫ

Папа Леру бежал по бульвару Севастополь с такой быстротой, какую он только мог развить при том обстоятельстве, что одна нога у него была короче другой. Папа Леру бежал вприпрыжку, он точно ловил пространство, которое ускользало от него вверх. Под левой рукой он держал толстую пачку листовок, в правой тащил ведро с клеем. Изредка он останавливался, шлепал кистью по стене, ладонью припечатывал к ней афишку и мчался дальше. Он успел побывать в большинстве типографий крупных газет, а теперь обежал часть торговых помещений, всюду оставляя свой след, — четвертушки красной бумаги, на которой стояло жирно:

СОЦИАЛИСТ-ПРЕДАТЕЛЬ.

Папа Леру с наслаждением отдавался своей работе, Чаще всего ему приходилось висеть где-нибудь между небом и землей, быть сторонним наблюдателем мимотекущей жизни. Теперь он сам направлял ее течение. Правда, улицы были еще малолюдны — автоматические часы показывали шесть утра. К центральному рынку ползли тяжелые телеги, нагруженные овощами, плодами и мясными тушами. Торговки, зябко кутаясь в вязаные косынки, выезжали со своими лотками. Кухарки лениво выползали на очередную охоту. Несколько запоздавших пьяниц вспомнили о том, что их ждет постель. Осенний туман оседал на асфальт чмокающей жижей.

Папа Леру бежал все дальше. Вокруг него неизменно царила тишина. Изредка старик издавал победные крики, нечто вроде трубных призывов, которых сам не слышал. Туман, колеблясь, поглощал глухонемого — красные отпечатки его ладони отмечали его путь:

СОЦИАЛИСТ-ПРЕДАТЕЛЬ.

Кухарки проходили мимо, не читая. Крестьяне, стуча деревянными сабо по мостовой, смотрели в землю, пьяницы останавливались у красных афишек, чтобы, склонив голову, вернуть земле ее пьянящий хмель.

Любопытные должны были прийти позже. В семь часов обратила свое благосклонное внимание на красную афишку m-me Какерлак. Она только что вышла за ворота с корзинкой под рукой. Сон еще не сбежал с ее глаз. M-me плохо спала эту ночь.

— Доброе утро, m-me Ригаду, — крикнула она соседке, переходящей улицу, — а у меня неприятности...

— Какие?

— Вчера вечером мою дочь привезли из театра с вывихнутой ногой. Пришлось позвать доктора. Он вправил ей ногу, но приказал лежать неподвижно несколько дней. Вы представляете себе, что это значит! Несколько дней не двигаться с места, тогда как бедняжка должна, по контракту, танцевать ежедневно. Что вы на это скажете?

— Это ужасно, m-me Какерлак, — возразила соседка. — Надо же случиться такому несчастью... А у меня, представьте, тоже горе! Моя Минет, которую я так люблю, съела все заливное, приготовленное на сегодня. Так-таки вылизала его дочиста!

— А все потому, что вы держите у себя эту противную кошку, — вставила свое подошедшая m-me Берже, — сколько раз я вам говорила...

— Ах, нет, m-me, что вы! — подхватила ее слова еще одна дама, поспешавшая к группе знакомых. — Кошки совершенно необходимы там, где водятся крысы.

— И вот теперь я не знаю, как быть, — продолжала m-me Какерлак. — Дочь говорит, что ей могут отказать от места...

— Это вполне вероятно, — отвечала m-me Берже, торопившаяся отвечать даже тогда, когда не знала, о чем идет речь. — Многие домохозяева категорически воспрепятствуют держать в квартирах кошек...

M-me Какерлак всплеснула руками: о каких кошках говорит ей m-me Берже?

— У меня нет никаких кошек!

И в то же время в глаза ей метнулась красная бумажка. Она торчала в том месте, где еще вчера вечером ничего не было. Стоило обратить на это внимание.

— Посмотрите, *mesdames*, здесь что-то написано!

— Да, красная бумажка, — подхватила *m-me* Ригаду, самая подвижная из присутствующих.

— Это воззвание, — вставила свое веское мнение *m-me* Берже.

— Я читаю только лишь возвания Бурбонов, — возразила дама, пришедшая последней и страдавшая одышкой, — но те печатаются на бело-голубой бумаге!

— «Социалист-предатель», — прочла *m-me* Какерлак. — «Товарищи, прочтите эту стенограмму, не требующую комментариев...»

Дальше *m-me* Какерлак читать не могла. Ее придавили к стене новые любопытные.

— Конечно! — кричала в задних рядах одна почтенная особа, размахивая корзинкой. — Это проделки анархистов! Они хотят взорвать Елисейский дворец!

— Долой мошенников, залезающих в наши карманы! — завизжали другие почтенные дамы. — Скоро ничего нельзя будет купить на базаре. Франк падает, цены растут...

— Боши не платят нам контрибуций!

— Они хотят еще отнять у нас колонии!

— Социалисты заодно!

— Колонии нас кормят! Никто их не может отнять!

— Да здравствуют Бурбоны!

— Идем скорее к Центральным рынкам. Сегодня последний день свободной торговли.

— Что?

— Как?

— Пустите, *mesdames*, пустите! Я выцарапаю ей глаза!

Толпа гражданок росла. К ней присоединились мальчишки.

Кто-то с фонарного столба кинул в толпу, как картечь:

— Авто, метро, трам и фиакры забастовали. Граждане, можете идти пешком!

М-ше Какерлак едва выбралась. Она опрометью кинулась к себе домой.

— Флипотт! — взвизгнула она, вбежав в комнату, где лежала ее дочь, — Флипотт! Началась революция! Я сама читала красную афишку!

Флипотт со стоном повернулась.

— Что ты говоришь, мама? Какая революция?

— Самая настоящая, не требующая комментариев — как написано в воззвании!..

В квартире Лагиша трещал телефон. Сонный лакей, подерживая незастегнутые брюки, кричал:

— Нет! нет! нет! да нет его дома, говорят вам! Не знаю! Нет! Не возвращался со вчерашнего вечера. Не знаю!

Почтенные гражданки, кроме m-me Какерлак, оставшейся дома при больной дочери, мчались сомкнутыми рядами по улицам к Центральному рынку. К ним присоединялись все новые воительницы. Шляпки съезжали на затылок и на нос, вязаные косынки развевались подобно крыльям летучих мышей. Окна дребезжали от их визга.

Зеленой ряд был взят приступом. Красные пучки редиса, золотые связки моркови, бильярдные шары луковиц, изумрудные султаны петрушки и сельдерея, завитые парички салата носились над головами сражавшихся.

— Долой социалистов и бошей!

— Да здравствуют Бурбоны!

— К черту Лагиша!

Впервые Париж видел такое восстание женщин. Феминистки могли радоваться.

— Гражданки! — надрывалась одна из них, взобравшись на газетный киоск. — Ваши дети будут голодны и несчастны до тех пор, пока вы не возьмете бразды правления в свои руки. Да здравствует женщина-президент!

Она была великолепна, эта Лизистрата двадцатого века. Глаза ее из-под пенсне метали молнии, костлявые пальцы в ключья разрывали воздух.

Женское море выступило из берегов Центрального рынка и разлилось по Большим бульварам. В двух-трех местах

нашли исцарапанных и искусанных полицейских, пытавшихся водворить порядок.

Телефонный звонок в квартире Лагиша надрывался. Лакей, обескураженный, перестал отвечать.

Начальник полиции распорядился вызвать пожарные команды. С безоблачного солнечного неба на протестующих хлынул дождь.

Густые толпы любопытных высыпали на улицы и стояли на тротуарах, смотря на демонстранток.

Выступили монархические организации и «Лига отделенных начальников» — с бело-голубыми стягами. Рядом с красными афишками налипли бело-голубые — с призывом:

ГРАЖДАНЕ, ТРЕБУЙТЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ БУРБОНОВ!

В десять часов горничная разбудила m-me Мопя.

— M-me, вас хочет видеть его превосходительство, m-г Дюкане.

— Я хочу спать, — пролепетала Колибри.

— Они настаивали, чтобы я вас разбудила.

— Хорошо, пусть войдет.

Дюкане тотчас же появился в дверях. Он даже не улыбнулся, взглянув на сонное, розовое личико Эрнестины, выглядывавшее из-за спутанной сети пепельных волос.

— Эрнестина, скажи мне, какая контора прислала тебе монтеров для проводки электричества к вчерашнему вечеру?

— Каких монтеров? Я ничего не понимаю. Что с вами, мой друг?

Она потянулась, потом подобрала под себя ноги и села в глубине алькова.

— Вы даже не поздоровались со мной.

— Ах, дитя мое, не сердись на меня. Я очень взволнован. В семь часов меня разбудили сообщением о вчераш-

нем скандале у тебя на вечере. Только что я прочел статью в «Благе народа» и подпольный листок, где передан диалог Лагиша и Панлевеса. В Париже объявлена забастовка при таких же странных обстоятельствах, что и в Марселе. Лагиша нет дома. Полиция сбилась с ног. Это грозит окончиться грандиозным скандалом и падением министерства. На бирже смятение. Акции колониальных железных дорог поднимаются катастрофически, а мы не успели сделать и половины. Я приму меры, чтобы спасти положение, но мне нужно найти концы.

М-ме Мопя проснулась окончательно. Она не проронила ни одного слова.

- Прекрасно, но зачем вам контора?
- А вы помните наш разговор вчера утром?
- Да.
- Вы помните монтера, который находился там?
- Помню... Вы думаете...
- Боюсь утверждать, но принять меры необходимо.
- Хорошо, я сейчас позову управляющего...

ГЛАВА ВТОРАЯ — ВМЕСТО ИНФОРМАЦИИ

Без четверти десять Лагиш проснулся. Несколько минут он лежал неподвижно, с открытыми глазами, стараясь припомнить, где он находится. Он оглядел потолок и стены, — и то, и другое было ему незнакомо. Он покосился на подушку и увидел рядом, совсем близко раскрытый пухлый рот, два ряда мелких зубов, равномерно раздувающиеся ноздри вздернутого носа, подкрашенные длинные ресницы и копну каштановых волос.

Лагиш приподнялся на локте и отвел эти волосы с низкого лба. Спешить было некуда — заседание назначено в двенадцать.

«Как ее зовут? — подумал он. — Неужели вчера я был настолько пьян?»

Мало-помалу он припоминал.

Ему позвонила Флипотт, она настойчиво звала его к своей подруге.

— Я устроила очаровательный уголок. Мы чудесно проведем время. Ты должен приехать. К тому же, я должна сообщить тебе одну вещь, очень важную — она касается тебя, твоей карьеры. Политический секрет, который мне удалось узнать. А за это ты мне сделаешь подарок.

Лагиш поехал. У Мопа ему было не очень весело, к тому же, он боялся лишних сплетен. По дороге он купил шампанского и фруктов. Его встретила полненькая шатенка. Она назвала себя подругой Флипотт. Просила его подождать. У нее оказался острый язычок, у этой девчонки. Она трещала без умолку. Они выпили по одному фужеру, потом еще по одному... Флипотт не приходила. В комнате пахло духами, на m-He было нечто прозрачное, нечто невесомое. Лагиш дотронулся до ее плеч. Да — ее звали Мадлен! Он теперь вспомнил. Мадлен! Это звучало не хуже Флипотт. Даже, пожалуй, мягче. Вся она была значительно мягче Флипотт. Плечи, грудь, руки... Они придумали веселую игру. Мадлен брала глоток шампанского и с поцелуем вливала его в рот Лагиша. Потом они, смеясь и напевая, медленно закачались в фокстроте. Им казалось, что они засыпают, что ноги их, переплетаясь, ведут их сами собою. Они танцевали, пока не упали на ковер от усталости и неудовлетворенного томления.

Не виноваты же они, что Флипотт не приходила! Для нее они оставили одну бутылку шампанского.

Но она не пришла.

Лагиш нашел под одеялом теплые плечи, губами закрыл открытый пухлый рот.

.

В одиннадцать часов организованная толпа рабочих остановилась перед зданием министерства колоний. На красных плакатах сверкало:

**ПОЗОР СОЦИАЛИСТАМ-ПРЕДАТЕЛЯМ! ДОЛОЙ
ПРОВОКАТОРА ЛАГИША!**

**ТОВАРИЩИ, НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ВООРУЖЕН-
НОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!**

**АВТОНОМИЯ КОЛОНИЙ — ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
К СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ!**

**ПОКА КОЛОНИИ НЕ БУДУТ СВОБОДНЫ — ВО
ФРАНЦИИ ПРОЛЕТАРИАТ НЕ ДОБЬЕТСЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ!**

**ТЕ, КТО С НАМИ — ТЕ ЗА АВТОНОМИЮ КО-
ЛОНИЙ, КОТОРУЮ НЕ ЖДУТ, А ВЫРЫВАЮТ
СИЛОЙ!**

Из тряпок и картона рукой Виньело был изображен Дюкане, сидящий верхом на Лагише. Сам художник без шляпы, в рабочей оливковой блузе поддерживал свою карикатуру, приводя ее веревками в движение.

В одиннадцать часов электромонтерная контора Мелек и К^о представила полиции список имен и фотографические карточки всех своих служащих. Среди них Дюкане и m-me Мопа не смогли опознать того, кто присутствовал при их разговоре в «магической комнате».

Из Палаты депутатов на квартиру Лагиша прислан был курьер с повесткой от председателя.

Экстренный выпуск «Action Française», вышедший в единственном числе только благодаря тому, что его набрали штрейкбрехеры из «Лиги отделенных начальников», ошарашил сенсациями:

Только идиоты, только ослиные головы республиканцев не поймут, что продолжение «демократической» политики ведет Францию к гибели. Вот еще несколько ярких фактов для разоблачения этой политики, любезно сообщенных нам высокоуважаемыми и всем известными лицами...

За пространной статьей, в подробностях излагавшей вчерашнее происшествие у m-me Мопа, следовали сенсационные разоблачения:

Ваш корреспондент имел счастье беседовать с очаровательной дочерью всеми уважаемого директора «Блага народа» м-г Ванбиккера — Эсфирью Ванбиккер. М-lle сообщила нам, что у нее имеются неопровержимые доказательства того, что гипнотизер, приглашенный на вечер m-me Мопа, назвавший себя Абдаллой-Бен-Сид-Мустафой и разоблачивший махинации республиканского центра в лице пресловутого Дюкане с ублюдком социализма Лагишем (мы всегда утверждали, что это одна клика, которую нужно гнать метлой), не кто иной, как русский эмигрант Коростылев, арестованный в Марселе нашими «радикалами» за то, что он решил застрелиться, разочарованный в возможности увидеть когда-нибудь истинно сильную и единственно законную на земле монархическую власть. Этот

доблестный гражданин пострадал за свои убеждения в варварской стране Советов и искал приюта во Франции, но, управляемая узурпаторами, она предала его. Только счастливый случай спас Коростылева. Тайные друзья спасли его. Мы шлем ему наш братский привет.

Рядом другой репортер сообщал:

Мы только что приняты были нашим несравненным собратом, депутатом Вандеи Морисом Панлевесом. Нервное потрясение приковало его к постели. Все же он не отказался информировать нас по интересующему нас вопросу.

Вчера в три часа ночи м-р Панлевес покинул салон м-ме Мопя, после всем уже известного сеанса африканского гипнотизера. По дороге домой автомобиль его был остановлен шайкой вооруженных маскированных людей, среди которых была женщина. Угрожая револьверами, они потребовали в категорической форме подписать предъявленный документ, с содержанием коего м-р Панлевес даже не успел ознакомиться в точности. Народному представителю ничего не оставалось, как подчиниться.

На наш вопрос, кто же мог скрываться под масками и с какими целями было совершено нападение, Морис Панлевес ответил, что, по его мнению, напавшие на него лица, несомненно, принадлежат к какой-нибудь анархической или коммунистической организации, желающей путем разоблачения Лагиша поднять брожение в массах. Наш глубокоуважаемый депутат высказался далее в том смысле, что, по его мнению, следует более сдержанно относиться к разоблачениям, имевшим место, что многое представлено злонамеренными лицами в преувеличенном виде, что с Лагишем должно вести лишь парламентарную борьбу, что в настоящую минуту, благодаря сложившимся обстоятельствам, премьер несколько не опасен,

а скорее даже желателен, как представитель власти. Далее m-г Панлевес обещал выступить в Палате по своем выздоровлении, в настоящую же минуту считает себя вправе уклониться от дальнейших расспросов. Последними его словами было: «Нашей общей задачей должно быть установление во Франции твердой власти».

Третий сотрудник спешил с новой сенсацией:

Редакции удалось установить, что стенограмма, ныне выпущенная подпольной анархической организацией, текст коей послужил основанием статьи нашего уважаемого противника Поля Батарда (кстати сказать, весьма невразумительной) — доставлена была ночью в редакцию газеты «Благо народа» некоей m-me Нуазье, супругой известного профессора египтологии, члена Института m-г Пьера Нуазье. По распоряжению начальника полиции, в квартиру профессора явились агенты для составления протокола. Но m-me Нуазье не оказалось дома. Господин Нуазье и его прислуга Люси Барж показали, что m-me Нуазье скрылась из дома в ночь с 7-го на 8-е ноября и с тех пор не появлялась. На вопрос агента, почему же не приняты были ранее меры к ее розыску, почтенный профессор отвечал, что, перегруженный работой (он готовит серьезный труд в двадцать пять печатных листов о вновь найденной клинописи, проливающей свет на до сего времени темный для нас период царствования фараонов из династии Пфа-Тамамгов), он сначала не заметил исчезновения жены, а потом решил, что она уехала к родным в Марсель, так как нашел у нее случайно полученные ею телеграммы о болезни старшего брата Виктора. Из дальнейших вопросов выяснилось, что супруги Нуазье мирно прожили десять лет и что исчезновение m-me Нуазье отнюдь нельзя считать демонстративным желанием покинуть мужа. M-me Нуазье — дочь рыбака, в доме которого отдыхал на бе-

регу моря в 1914 году m-r Нуазье. Младший брат madame служил в колониальных войсках, но последнее время о нем ничего не было слышно. Старший, Виктор, контуженный во время войны, проживает в Марселе на скромную пенсию. Господин профессор убедительно просил агентов полиции помочь ему найти пропавшую жену. Как видит читатель из всего изложенного, клубок происшедшего вчера инцидента все еще не распутан. Точно так же потеряны следы гипнотизера Мустафы, русского эмигранта Коростылева и монтера, работавшего в квартире m-me Мопя и заподозренного в соучастии с гипнотизером. В Марсель посланы строгие директивы местной полиции.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — ПАТЕТИЧЕСКАЯ

В полдень Лагиш был у себя в министерстве. По дороге он успел прочесть красный листок со стенограммой, номер конфискованного «Блага народа», был задержан на площади Конкордии толпой манифестантов, видел свое изображение в руках художника Виньело, ознакомился с мнением о себе Панлевеса, — одним словом — зарядился в достаточной мере. Приемная кишела жаждущими аудиенции. В зале заседаний все члены комитета были в сборе. На столе лежала повестка из Палаты от председателя. Начальник полиции и префект города убедительно просили принять их вне очереди. По телефону требовали Лагиша на экстренное партийное собрание. Делегаты объединенного президиума социалистического блока во всеуслышание высказывали свое негодование. Журналисты с вечными перьями интервьюировали его на ходу. По радио получены были телеграммы весьма тревожного характера о начинающемся брожении среди чинов дисциплинарных батальонов колониальных войск. Местное население оказывает им поддержку. Слухи эти муссируются на бирже. В связи с этим франк снова стал падать.

Лагиш почувствовал легкое сердцебиение; обессиленный, он опустился в кресло, — наполеоновский профиль заметно линял. В конечном счете, справиться со всей этой уймой дел одновременно не в силах человеческих. Лагиш приказал подать себе крепкого чаю.

Телефонная дробь прервала его оцепенение.

— Что еще? — свирепо крикнул премьер.

Заглушённый, старческий, пришепетывающий голос зацарапал ухо министра.

— Кто говорит?

М-me Какерлак, втиснутая в узкую телефонную кабинку, — едва дышала от волнения, страха и неумения обращаться с телефоном.

— Это я, господин министр...

.

— Это я... если вы позволите, m-me Какерлак...

.

— Ну да, m-me Какерлак, которая, если позволите, господин министр, то есть, ваше превосходительство — приходится матерью известной вам танцовщице m-lle Флипотт Какерлак...

.

— Ну вот, господин министр, я говорю от лица своей дочери, m-lle Какерлак, что она лежит и не может сама явиться к вам.

.

— Конечно, я понимаю, что сейчас не такое время...

.

— Я бы никогда не осмелилась, ваше превосходительство.

.

— Мне очень трудно говорить, но меня просила дочь, то есть Флипотт: пойдя позвони Лагишу, то есть вам, ваше превосходительство, что я больна, то есть она — моя дочь — больна, вывихнула себе ногу и может случиться, что придется лежать долго, даже больше недели, а за это, как вам известно, по головке не погладят...

.

— Короче?.. Конечно, это будет большое счастье, если болезнь ее протянется короче...

.

— Ах, вы просите, чтобы я говорила покороче?..

.

— Понимаю, понимаю... у вас серьезные дела, господин министр, я даже читала, как вас бранили эти безбожники...

.

— Нет, чего же... Я тоже понимаю... их нужно всех...

.

— Виновата, ваше превосходительство, вот я и решилась просить вас как-нибудь помочь мне... Потому что я одинока и никакого заработка...

.

Лагиш багровел. Если бы он мог, то запустил бы в старуху трубкой. Но внезапно раздражение его приняло другой оборот.

«Конечно, во всем виновата Флипотт. Все это ее ловушка. Она сама говорила о какой-то политической тайне».

— Чепуха! — закричал он. — Вздор, сударыня! Я знаю все ваши штучки. Вы позволяете себе меня шантажировать! Я не позволю! Я сейчас же распоряжусь арестовать вас! Арестовать! И допросить! Да! Арестовать!

Грузное тело m-me Какерлак поползло вниз, скользя вдоль полированных стен кабинки. Телефонная трубка, треснувшись о косяк, повисла в бессилии.

.

— Нет, я не допущу! — надрывался Лагиш, стуча кулаком по столу.— Довольно! Я покажу им, что такое — твердая власть. Они узнают меня! Никаких послаблений, никаких уступок! Если они не оставят своих инсинуаций — я заткну им глотки силой... Вы находите мою позицию неправильной? Вы полагаете, что я действую вразрез с директивами левого блока? Что я позволил себе сепаратное выступление? А я вам говорю, что это вздор! Да, вздор! Мои действия вполне координированы с тактикой блока. И в свое время партия убедится в этом, когда я дам свои объяснения. Она меня поддержит! Я в окружении, господа! Меня травят со всех сторон. В стране царит анархия! Безответственные элементы науськивают наименее сознательную часть пролетариата и мешают планомерной работе...

Лагиш встал и прошелся по комнате. Он щурился, как всегда в минуты волнения. Лицо его было зеленовато-бледным, правую руку он заложил за борт пиджака. Его все больше охватывала истерическая восторженность. Он чувствовал себя мучеником идеи, Савонаролой, сжигаемым на костре. Голос его пронзительно взвизгивал.

— Меня вынуждают быть жестоким! И я буду жестоким во имя справедливости. Я требую к себе доверия у партии,

пославшей меня на такое тяжелое дело. И я получу это доверие или перестану жить!

Начальник полиции пододвинул ему кресло. Члены кабинета привстали.

Момент был поистине исторический.

Трагический ореол осенял чело премьер-министра.

.

Ванбиккер сидел у себя в кабинете на улице Лафит с сигарой в зубах и дирижировал. Здесь, в сафьяновом кресле, билось сердце Центральной биржи. От него по венам, по звенящим кровеносным сосудам — телефонным проводам — стремительно неслась во все концы живая кровь, руководящие директивы; отсюда поддерживалась уверенность в неизменности политики Лагиша, подкрепляемая слухами о волнениях в колониях. Тысячи рук собирали акции колониальных трестов, падающих все ниже, подобно невесомым хлопьям снега. Доллар торжествующе царил над всем. Ванбиккер, главный директор органа национального блока «Благо народа», вершил свое патриотическое дело. Через три дня курс должен был быть изменен — не раньше.

М-ле Эсфирь Ванбиккер понимала свой патриотический долг несколько иначе. Она отнюдь не интересовалась экономикой. Она признавала лишь чистую политику. Лагиш поскользнулся, — его нужно было добить. Эсфирь не признавала компромиссов. Сидя за несколько комнат от отца, в своем будуаре — она писала громовую статью, где без обиняков требовала военной диктатуры.

Лейтенант Самойлов старательно переписывал ее вдохновения на машинке.

Внезапно м-ле доложили, что ее просит принять генерал Бурдон. Она отложила перо в сторону.

— Просите.

Генерал вошел своей бодрой элегантной походкой стареющего красавца, подняв плечи, несмотря на то, что на

них не блестели пышные эполеты, но плотно облегалo их тонкое черное сукно строгой визитки.

— Я сегодня всюду невпопад, — сказал он, скаля на диво сохранившиеся зубы. — К папа вашему меня не пустили, вам я тоже, кажется, помешал.

— Ничуть, мой генерал, я рада видеть вас. Вы мне расскажите все новости.

— Если только они мне известны. Со вчерашнего дня мы живем, как во сне. Отовсюду нас ждут неожиданности. Добрый день, лейтенант! Вы счастливы, что можете наблюдать все происходящее со стороны. Но нас, французов, — это коробит, уверяю вас. Видишь, как все трещит по швам, и с горечью ощущаешь свое бессилие.

— Но что же предпринимает правительство, мой генерал?

— Оно в прострации. Левый блок раскололся. В Палате требуют отставки Лагиша и смены кабинета. Но тут выступил Дюкане. Он, как всегда, начал издавека, но, делая петли, повел к намеченной цели. Заявив о том, что, отнюдь не солидаризируясь с общей программой Лагиша, он тем не менее находит, что в настоящее время только этот последний может стоять во главе правительства как представитель той группы, которая в свое время представляла оппозицию! «Народ должен знать, что его интересы соблюдены». В конечном итоге после трехчасовой речи Дюкане расколовшийся левый блок пополнился голосами всего Национального блока, что и требовалось доказать. И вы можете меня поздравить с новым назначением.

— Каким?

— Я назначен товарищем министра колоний с полномочиями... Генерал скромно опустил седеющую голову. — Впрочем, это пока еще не подлежит огласке.

— Поздравляю вас, ваше превосходительство. Я рада за вас. Но все же мне хотелось бы окончательно раздавить Лагиша...

Эсфирь не закончила фразы. Под окнами раскатился тысячеголосый гул.

— И видеть вас, генерал, неограниченным диктатором над этой чернью... — продолжала m-lle Ванбиккер, подходя к окну и указывая на льющийся под нею людской поток.

Все трое — Эсфирь, генерал Бурдон и лейтенант Самойлов — склонились перед окнами, за которыми кипело, бурлило, пенилось, то приливая, то отливая, человеческое море. Над ним рвался ветром в ключья, взбухал, ширился «Интернационал», взвизгивала «Карманьола».

Это шли рабочие электрических станций, центрального гаража, типографий, металлисты.

На одном из плакатов, задержавшихся у самых окон, Эсфирь прочла:

**ТОВАРИЩИ! СОЦИАЛИСТЫ-ПРЕДАТЕЛИ
РАСКРЫЛИ СВОИ КАРТЫ! СЕГОДНЯ ОНИ
ОТКРЫТО ВСТУПИЛИ В СОЮЗ С БУР-
ЖУАЗИЕЙ ПРОТИВ ПРОЛЕТАРИАТА.**

— Их можно было бы обстрелять с Монмартра в два счета, — заметил генерал.

— И я бы это сделала на вашем месте, — отвечала Эсфирь.

Но неожиданно Самойлов, стоявший у другого окна, вскрикнул:

— Смотрите, смотрите — это Коростылев!

— Кто?

— Коростылев! Эмигрант... Тот, что в Марселе.

— Не может быть!

— Да вот же! Уверю вас. У самого плаката. Вот его поднимают... Он машет рукой. Видите? Он что-то говорит... Я узнал его по затылку...

— Он?

Эсфирь раскрыла еще шире и без того выпуклые свои глаза. Она негодовала. Она готова была избить Самойлова за то, что он позволил себе разрушить ее остроумную гипотезу.

тезу о героическом монархисте.

— Коростылев с этой чернью? Не поверю!

Сухой, перхотный винтовочный треск поставил точку ее возмущению.

— Бегут! — петушьям голосом завопил генерал, от волнения готовый выкинуться на улицу. — Бегут! Посмотрите, как побежали эти каналы! А ну, еще раз! Еще раз! Да что же они замолчали, мерзавцы?

С генерала слиняла его штатская элегантность — на плечах грозно заершились эполеты.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Париж грохотал, взвизгивал, горланил песни, вздувал облака каменноугольной пыли, бродил, как добрый старый сидр, вот-вот готовый с треском выбить из горла, ставшего слишком узким, негодную пробку. Организованные рабочие не приняли провокационного вызова и после неожиданной паники мирно разошлись по домам.

ТОВАРИЩИ, НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ВООРУЖЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ!

Они хорошо усвоили этот разумный лозунг.

Но толпа, улица, гамены, студенты, босяки с берега Сены, весь мусор и сброд столицы все еще плавал на поверхности, науськиваемый полицией, орал по бульварам, окопался в подземелье метро, свернул несколько пустых ларей, — выкинув черные и бело-голубые флаги, инсценировал восстание. Войска дали по ним несколько залпов. Буржуа забрались под крыши. В Елисейском дворце шло непрерывное совещание. Радио с Эйфелевой башни оповещало:

«К Тунису двигаются воинские части 37-го корпуса колониальных войск. Офицеры перебиты. Во главе восставших ту-

земцев Абдалла-Бен-Сид-Мустафа. Объявлена священная война. Дисциплинарные батальоны переходят на его сторону. Требуется немедленная помощь метрополии».

Новое экстренное штрейкбрехерское прибавление выбрасывало новый ворох сенсаций:

«Полиции удалось напасть на след подпольной организации, распространявшей листовки, порочащие премьер-министра. Задержан человек по имени Леру, разносивший эти листовки по рабочим кварталам. К сожалению, допросить арестованного не представилось возможным, так как Леру оказался глухим, что подтвердилось врачебной экспертизой. Преступник — маляр по профессии и явно выраженный алкоголик, как, впрочем, все наши так называемые “дети народа”, о которых так заботится левый блок. Надеемся, что теперь даже тупоголовые социалисты поймут, как следует поступать с этим “добрым народом”, когда у него нет настоящего хозяина. Со своей стороны, мы должны извиниться перед читателями: Абдала-Бен-Сид-Мустафа оказался вовсе не гипнотизером и не русским эмигрантом, а вожаком шайки восставших арабов, которых, несомненно, скоро ликвидирует только что назначенный командующим экспедиционным отрядом с чрезвычайными полномочиями генерал Бурдон, вошедший в состав министерства колоний. Что же касается русского эмигранта Коростылева, то его видели среди демонстрантов-рабочих, и в настоящее время полиция идет по его следам. Есть основание предполагать, что именуемый себя Коростылевым — советский шпион. Арест его на вечере в Марселе инсценирован его сообщниками. Ведется следствие. По распоряжению господина премьер-министра, допрошена и помещена в тюремную больницу некая маленькая танцовщица мюзик-холла m-lle Флипотт Какерлак.

Означенная особа шантажировала господина министра, уг-

рожая разоблачениями политического характера. Какерлак отрицает саму возможность шантажа со своей стороны. Она утверждает, что ее мать, м-ме Какерлак, обратилась к г-ну Лагишу с просьбой о помощи без ее ведома, по собственному почину, что лично она, м-лле Флипотт, пригласила г-на Лагиша на свидание к своей подруге по настоянию некоего незнакомого господина, представившегося ей под фамилией Обри де Ларош. Этот последний познакомился с м-лле в мюзик-холле, а 8-го числа при свидании в Булонском лесу внезапно потребовал, чтобы она вызвала с вечера у м-ме Мопа г-на Лагиша, под тем, будто бы, предлогом, что г-ну Лагишу угрожает там серьезная опасность, так как с ним ищет ссоры известный художник Виньело. На этом месте своего рассказа м-лле Какерлак расплакалась и долгое время отказывалась добавить что-либо в пояснение своих слов. Далее последовал следующий характерный диалог:

Агент полиции. Надеюсь, м-лле, вы все же не откажете сообщить мне, что заставило вас уступить настояниям господина, именовавшего себя Обри де Ларош?

М-лле Какерлак. Я боялась...

Агент полиции. Чего же вы боялись? Не проще ли было бы сообщить г-ну министру, какого рода неприятность ждет его у м-ме Мопа и таким путем обезвредить намерения художника Виньело?

М-лле Какерлак. Я не могла... нет, я этого не могла сделать. Видите ли, я... (Плачет.)

Агент полиции. Вы не хотели выдавать художника?..

М-лле Какерлак. Нет... Да... но...

Агент полиции. Вы, может быть, знали причину, побуждавшую г-на Виньело затеять ссору с г-ном министром?

М-лле Какерлак. Да, я ее знала. (Плачет.)

Агент полиции. Может быть, это причина интимного характера?

М-лле Какерлак. Я не могу, я не могу. (Плачет/)

Агент полиции. Но все же незнакомец высказал вам свои соображения по этому поводу? Что он говорил?

М-лле Какерлак. Он сказал, что Виньело догадался, что он узнал... я не могла этого перенести. Я не могла допустить, чтобы он решился... Нет... лучше пусть я буду виновата. (Плачет.)

Агент полиции. Не следует ли заключить из ваших слов, что господин Виньело приревновал к вам Лагиша?

М-лле Какерлак. Не знаю, не знаю... Нет, нет...

Агент полиции. И таким образом вы пытались не столько оградить господина министра от возможного столкновения с художником Виньело, сколько спасти вашего любовника от могущих произойти с ним неприятных последствий его замысла, если бы г-н Лагиш, предупрежденный вами, заранее принял бы соответствующие меры?

На этот вполне логический вопрос м-лле Какерлак ответить не сумела, симулируя истерику, что кажется нам весьма знаменательным. Напоминаем еще читателям, что упомянутый выше художник Виньело, чья раздутая левой прессой известность весьма сомнительна, недавно еще судился за порнографию. Отсюда каждый может сделать вывод, в какой атмосфере лжи, порока и преступлений процветали все эти герои настоящей авантюры, из каких отребьев человечества состоит та кучка людей, которая именует себя авангардом пролетариата и посягает на законы нашей страны. Эта история — блестящий урок нашим социалистам. Они должны записать ее себе — как “Memento mori”.

В довершение нашего отчета мы можем сообщить читателям, что нашему сотруднику выпало счастье беседовать с не-

сравненной, обворожительной m-me Мопа, чья грация, тонкий ум, изысканный вкус являются гордостью парижского света. M-me Мопа приняла нашего сотрудника в своем роскошном будуаре, обтянутом бирюзовым шелком. На хозяйке было простое визитное тонкого сукна платье цвета блеклой сирени, отделанное шеншиля, что придавало нежной белизне ее лица с восхитительным, чуть брезжащим румянцем и пепельным волосам особое очарование. Легким жестом руки m-me пригласила нас сесть рядом и с непринужденной грацией легко и охотно поделилась с нами своими впечатлениями о вечере.

M-me находит, что вечер, подробный отчет о котором мы поместим завтра в утреннем номере, сошел как нельзя более удачно. Он весь выдержан был в восточном вкусе. Превзошел себя неутомимый, несравненный де Бизар, вызвавший целую бурю восторженных аплодисментов своим фокстротом ориенталь. Гипнотизер Абдалла поразил всех силой своего внушения, равно как и его медиум — очаровательная кабилка.

M-me Мопа находит, что совершенно напрасно придали прорицаниям Абдаллы особо политический характер. Разговор между г-ном Лагишем и г-ном Панлевесом передан был медиумом в весьма элегантной, сдержанной форме и в конце концов не представляет из себя ничего такого, что бы могло бросить тень на молодого премьера. M-me убеждена, что в этом отношении нельзя искать со стороны гипнотизера злого умысла.

“Мы можем только удивляться его необычайному дару, — воскликнула своим серебристым голоском наша обаятельная собеседница и, погрозив нам пальчиком, добавила: — Ай-яй-яй! нехорошо, нехорошо! Вы всюду и везде ищите политику. Неужели нет более интересных вещей на свете, о которых стоило бы писать и ради которых стоило бы изощрять свои таланты?”

Здесь мы не удержались от искреннего комплимента, заверив m-me, что мы оказались бы безнадежными слепцами и ту-

пицами, если бы, сидя рядом с нею, стали утверждать противное. Но, увы, профессия обязывает нас не только восхищаться прекрасным, но и погружать свой анализирующий ланцет в гноище жизни во имя торжества справедливости и добродетели.

Получив на все наши вопросы полные и исчерпывающие ответы (гипнотизера пригласил к m-me Мопа де Бизар, в чьей корректности не приходится сомневаться, что же касается имени гипнотизера, тождественного с именем вожака повстанцев, то, — как справедливо заметила наша гостеприимная хозяйка — все арабы носят одинаковые имена Абдалла или Махмутов, как все русские — называются Иванами, а потому удивляться нечему), мы распрощались с m-me Мопа и ушли к себе в редакцию с радостным сознанием, что действительность обращается к нам не только одной своей теневой стороной, но являет и совершенные образцы безупречной чистоты, детской мудрости, красоты и покоряющего обаяния. Наши современники должны быть счастливы, что среди них живут такие божественные создания, как m-me Мопа».

ГЛАВА ПЯТАЯ — ДВАЖДЫ ДВА - ПЯТЬ

На бульваре Сен-Жермен Виньело отстал от процессии и зашел в греческую столовую, рядом с Сорбонной, пообедать. Он охрип, покрыт был с ног до головы густым слоем пыли, проголодался, как вол. Его встретили студенты рокочущим «ура». Характерную коренастую фигуру художника в широкой оливковой блузе знали все. Латинский квартал считал его своим мэтром.

— Друзья мои, я счастлив, — закричал Виньело с порога. — Сегодняшний день показал мне, что мы еще на что-нибудь годны. Я не знаю, кто автор этого фарса, но он состряпан талантливо, и я рад, что мне удалось принять в

нем участие, хотя бы в роли сценариста. Друзья мои, меня мучит жажда. Я охотно разопью с вами бутылочку-другую вина и поделюсь своими впечатлениями.

Ему очистили место в конце длинного стола, покрытого весьма сомнительной свежести скатертью, усеянной крошками хлеба, украшенной жирными пятнами, сплетавшимися в замысловатый узор, загроможденной разномастой посудой. Проворный гарсон в малиновом бархатном жилете и с феской на голове подал ему литр красного вина, полный, зеленого стекла стакан и порцию мидий по-гречески. Молодежь сгрудилась вокруг художника, готовая слушать, негодовать или смеяться.

— Итак, — начал Виньело, уписывая коричневую острую бурду, в которой плавали улитки, — сегодня знаменательный день. Передо мной раскрылась последняя страница моей книги «Вот человек». Это апофеоз — лучше которого не придумаешь. Респектабельный фрак вывернут наизнанку. Обратная сторона медали, на лицевой стороне которой написано: «*Pour la merite*», а на задней: «Продается с публичного торга». Акционерная компания — Лагиш-Ванбиккер-Дюкане — по распродаже Франции. Сигары, черт возьми, сигары!

Художник громыхнул кулаком по столу.

— Какие сигары? — спросило его несколько голосов.

— Социализм, ценой в одну сигару «*Non plus ultra*»! Каждому лестно курить сигару. Но не всегда это умеют делать, друзья мои! Многие закуривают не с того конца, и тогда результат получается весьма неожиданный. Уверяю вас. Черт возьми! Это может кончиться взрывом! И я первым бы поднес спичку. Этаким веселенький фейерзерк в честь господ, умеющих курить сигары! Что вы на это скажете, друзья мои? Мы бы потанцевали с вами, не правда ли? Да, да, я читал эту гнусную газетку, но она не стоит того, чтобы ее так ругали, — напротив, я бы раздавал ее даром по всем рабочим кварталам, как наиболее убедительный агитационный материал. Какой шутник толкал их под руку писать такой жестокий обвинительный акт против самих себя?.. Флиппотт? вы говорите, что затронута ее честь?.. Ошибае-

тес, друзья мои. Ее честь восстановлена... И я сейчас иду к ней, чтобы на коленях просить у нее прощения... Не улыбайтесь. Впервые гнусный аноним восстанавливает, помимо своего желания, семейное благополучие... Да-да... друзья мои — на днях я приглашаю всех вас на маленькое торжество... Что? подарки? Конечно, мы охотно принимаем подарки от добрых друзей... Но только не сигары... Нет!.. Мы их не умеем курить...

Виньело пошарил у себя в объемистом кармане блузы и достал прожженную трубку.

— Эта дама вполне нас удовлетворяет, — сказал он. — А теперь я предлагаю выпить за родича нашего, гостеприимного хозяина Абдаллу-Бен-Сид-Мустафу! За которого из двух? И за того, и за другого. Я плохой революционер, а потому не разбираюсь вполне — который из двух лучше. Во всяком случае — тот, которого я видел у m-me Мопя, весьма живописен и еще более остроумен. Он заставил смеяться весь Париж. Это чего-нибудь да стоит. Одним ударом он спутал всю игру. Переменил маски. Заставил плясать фокстрот нагишом на глазах у всех. Это гениальный комедийный автор. Второй Бомарше! Уверю вас, друзья — для того, чтобы подготовить революцию во Франции, прежде всего нужно заставить ее смеяться! Наш смех похож на гильотину: те, над кем нам случилось посмеяться, уже не встанут. Их можно считать мертвыми. Я пью за Абдаллу-Бен-Сид-Мустафу — революционера и комедианта!

— Вы забываете Коростылева, — подхватило несколько голосов, — русского эмигранта, веселого самоубийцу!

— Я готов выпить и за Коростылева, — согласился Виньело, расплескивая вино в высоко поднятой посудине, — тем более, что он напомнил нам о стране, в которой давно уже раскусили таких молодчиков, как Лагиш. Марсельский скетч Коростылева стоит того, чтобы за него выпили!

— Ура!

Все поднесли к губам свои стаканы. Но внезапно Этьен остановил их резким взмахом руки.

— Трр! Стоп! одну секунду внимания! Взгляните, сеньоры, на столик, что стоит особняком у окна со всем нам

знакомой зеленой занавеской. Вы видите? Там сидит господин, хранящий торжественное молчание и предпочитающий нашему обществу дрянной листок «Action Française». Я спрашиваю его, почему он не присоединится к нам и не подымет вместе с нами стакан вина? Отвечайте, m-g, если вы не хотите быть изгнанным из нашего общества!

Виньело принял угрожающую позицию. Он вскочил на стул, одной ногой упираясь о край стола, — оливковая блуза его раздулась. Все обернулись в сторону незнакомца.

Одиноким посетитель медленно опустил газетный лист, который он перед этим читал, и со спокойной улыбкой на широком гладко выбритом скуластом лице в свой черед взглянул из-под густых бровей на шумную компанию. Вся его приземистая тяжеловатая фигура, облаченная в мышинного цвета драповое пальто, не проявила ни малейших признаков удивления или беспокойства. Напротив того, незнакомец улыбался все шире и благожелательней. Он точно принимал приветствия.

— Эй, вы! — крикнул Виньело еще громче. — Это относится к вам! Потрудитесь отвечать.

— Охотно, — тотчас же произнес незнакомец, сложил аккуратно газету, помедлил немного и только после этого заговорил отчетливой, резкой скороговоркой — точно рассыпал по мраморной доске свинцовую крупную дробь. — Вы пьете за двух арабов и одного русского, заставивших, по вашим словам, смеяться весь Париж. Я не присоединяюсь к вашему тосту. Я не пью ни за одного, ни за другого, ни за третьего, ни за всех вместе. У меня нет охоты и средств тратиться на вино по пустякам.

— Объяснитесь.

— Выражайтесь яснее!

— Черт с ним! Это иностранец. Оставьте его в покое.

— Нет, я предоставляю ему слово, — покрыл отдельные выкрики и общие возгласы голос Виньело. — Выкладывайте ваши аргументы!

— Их у меня немного, — спокойно возражал незнакомец. — Первый из них всем известен: смеется тот, кто смеется последним. Если смеется парижская улица, то это еще не

значит, что смеется трудящаяся Франция. Второй из них тот, что названные вами лица, подобно вам, художник Виньело, — бунтующим одиночкам, — только лишь сумели показать обратную сторону медали того, что привыкли называть «республикой», умело выдернули у шулера крапленую колоду, я же хотел бы выпить за тех, кто ударит по этой медали и растопчет обе ее стороны под своими ногами. Вот те-то и будут смеяться последними. Гарсон, не откажите мне дать пол-литра и самого лучшего! К сожалению, я не могу угостить всех. Ванбиккер не предоставил мне этой возможности, хотя мы и убили его сегодня своим смехом. Но я не унываю и надеюсь, что ваше вино не покажется вам особенно кислым, если вы замените ваш тост моим... Итак, за тех...

— Кто посмеется последним! — подхватил Виньело.

— Кто растопчет медаль под своими ногами!

— Ура!

— Ура!

— Превосходно, друзья мои, — одним глотком опрокинув в рот свой стакан, продолжал незнакомец. — Я рад, что вы так быстро согласились с моими доводами. Это облегчит мне мою задачу и позволит дальше развить свою мысль. Но не посетуйте на меня, если я скажу вам, что этого единодушного тоста далеко не достаточно для того, чтобы убедить меня в вашей готовности и дальше следовать за мною. Но я не гордый. Некоторый опыт говорит мне, что в свое время, после некоторых колебаний и недоумений, вы снова станете аплодировать нам, потому что вы, все же, славные ребята, хотя иногда вас и заставляют Ванбиккеры курить сигары... Итак, не ищите и не приветствуйте тех, кто инсценировал сегодняшний фарс. Автор этого фарса многолик и неуловим. Он везде, он среди нас, он — мы сами. Не ведая того, мы помогаем случаю компрометировать тех, кто должен быть скомпрометирован. Мы расчищаем путь веселому случаю, этому гениальному провокатору, срывающему все маски, ловящему мудрецов за нос. Разве этот листок, что я держу в руках, эта газетка, сфабрикованная штрейкбрехерами, не лучшее тому доказательство? Злей-

ший враг не мог бы насолить удачней! А разве ваша карикатура, товарищ Виньело, не точная копия действительности, кривляющейся перед вами?.. Толкайте, толкайте жизнь вперед, быстрее поворачивайте колесо, — и то, что достойно осмеяния, само выскочит на позорище. Лучший сатирик тот, кто предоставляет своим героям говорить и действовать за самих себя. Быстрей лишь вертите колесо жизни!

Незнакомец умолк на время для того, чтобы наполнить стакан. Движения его оставались по-прежнему размеренны и спокойны.

Художник с приятелями, студенты и случайные посетители столовой сгрудились вокруг него. Жирные от остывающих запахов кухни сумерки падали с низкого потолка. За окнами пели «Карманьолу».

— Друзья мои,— продолжал неизвестный, — близится вечер. Большинству из вас нечего делать. Выходите на улицы и слушайте, что говорят те, кому сейчас надо смеяться. От них, быть может, вам удастся узнать имя грядущего автора гениальной трагедии, и если вы не из трусливых — примите в ней участие. Ее первый акт гениально разыгран в России. А фарс, наскоро скроенный нами, пусть доигрывают Лагиши, Дюкане и Ванбиккеры, — они справятся с ним сами и доведут до конца с успехом без помощи суфлера и грима, под дружные аплодисменты парламентской кляки. Вот вам последний акт фарса, — он традиционно благополучен: Лагишу предложено в Елисейском дворце составить новый кабинет. Под давлением событий, Лагиш не может отказаться. И вот Дюкане в качестве министра колоний — в составе кабинета социалиста! Карательная экспедиция генерала Бурдона несется в Африку на всех парах. А там, где еще утром висело позорище Лагиша, — его диалог с Панлевесом, назначенным теперь министром внутренних дел,— красуется горделиво:

«Впредь до соответствующего распоряжения, Париж объявляется на особом положении. Уличные сборища, митинги и прочее воспрещены».

— Долой Лагиша!

— Долой!

— Это черт знает что! — заорал художник, раздувая блузу. — На виселицу предателя!

— Все в свое время, — остановил его размеренный голос неизвестного. — Не горячитесь, друзья мои. Дайте актерам доигрывать фарс.

— На улицу, к министерству!

— Напрасный труд. Метла хорошего дворника живо сметет вас в мусорную яму!

— На баррикады!

— Их не полагается в реквизите фарса. Смейтесь! Я нахожу, что конец удачнее начала. Разве вам не смешно? Черт возьми, социалист Лагиш об руку с патриотом Дюкане и монархистом Панлевесом на фоне обязательного постановления! Что, если бы вы, товарищ, Виньело, нарисовали такую карикатуру? Кто бы поверил вам? Итак, предоставьте героям говорить и действовать за себя... И вам будет над чем посмеяться!

— Браво!

— Он прав!

— Браво!

— Черт возьми, он большой весельчага, этот иностранец!

— Веселый самоубийца!

— Человек, доказавший нам, как дважды два — четыре...

— Что не всегда можно ждать от одних и тех же действий — одинакового результата, — перебил говорившего Виньело, снова вскакивая на стол, — что иной раз дважды два равно не четырем, а пяти. Не так ли, приятель? Но мы требуем, чтобы ты нам сказал, кто же ты сам, откуда пришел и куда направляешься? Мы должны тебя чествовать.

— Качать его!

— Ура!

— Вы слишком громко кричите, друзья мои, — отвечал неизвестный, — вы обращаете на себя внимание тех, кому лучше всего проходить мимо. Я вижу у наших дверей двух

подозрительных субъектов в сопровождении телохранителей. Поэтому разрешите мне не называть себя, тем более, что имя мое ничего вам не скажет. Я один из тех, кто помогает случаю... Мы с вами коллеги, товарищ Виньело. Вы правы, — не всегда дважды два равно четырем, как это полагают добрые буржуа...

— Но зато мы-то теперь поймали тебя наверняка, каналья! — раздался чей-то визгливый голос, заставивший всех обернуться к дверям. — Граждане, дорогу! Пропустите!.. он у нас в руках! Хватайте проворней! Это он, как бог свят! — Марсельский самоубийца, мошенник, большевик, это он — не будь я честный агент Патату! Ну и задал он мне работу... Держите!

В распахнутые двери ввалились полицейские. Патату винтом проник в толпу студентов. Но в то же мгновение Виньело, стоявший на столе, поднял табуретку и заорал громовым голосом:

— Товарищи, за мною! Долой полицию! Мы не позволим врываться ей к порядочным людям! Докажем им, что мы еще добрые французы! К оружию!

Табурет в мускулистой руке художника свистел в воздухе, как двадцатидюймовый снаряд. Веселая игра заразила остальных. Кулаки, стулья, тарелки, бутылки обрушились на полицейских.

— К оружию!

Хрястнули выбитые окна, и темное месиво людей — визг, топ, смех, «Карманьола», проклятия — выплеснуло разом на бульвар Сен-Жермен под вечернее октябрьское небо, видевшее немало таких внезапных, бурливых, как вино Шампани, веселых, крикливых уличных революций, — предвестниц иных, величавых очищающих гроз.

.....

.....

.....

.....

ПОСЛЕСЛОВИЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Достопочтенные читатели!

Я беру на себя смелость задержать ваше внимание на несколько минут, чтобы исполнить обещанное в предисловии редактора. Помимо того, мне необходимо объяснить вам, почему вместо текста последней, шестой главы — стоят точки. Мы вынуждены были опустить эту заключительную главу в настоящем издании по требованию министра полиции из чувства гражданской добропорядочности. Редактор издания, господин Плюмдоре, протестовал против этого и демонстративно покинул наше издательство, о чем я не сожалею, говоря между нами.

Последняя глава романа по содержанию своему настолько непозволительна в общественном смысле, настолько явно глумится над всем, что мы привыкли уважать, так откровенно цинична, что вряд ли кому-либо приятно было бы прочесть ее.

Достаточно сказать, что в ней изображается экстренное заседание Палаты депутатов, на котором выступает в качестве докладчика Панлевес. Выгораживая себя, он делает ряд недостойных разоблачений — подымается скандал, доходящий до рукопашной. Под маской Панлевеса автор пытается дискредитировать наше представительное учреждение, обливает помоями Третью Республику. Наряду с этим он изображает репрессии правительства в явно извращенном виде. Наконец, его герой, — очерченный, надо сознаться, весьма бледно, — скрывается до какого-то «первого акта трагедии».

Обескураженная полиция рыщет по рабочим кварталам, по предместьям и производит многочисленные, но безре-

зультатные аресты. — Незнакомца нет. Вместе с тем, его черты полиция видит на лице каждого рабочего. Чем больше она производит арестов, тем больше появляется лиц, вызывающих подозрение. К ночи агентам кажется, что необходимо арестовать весь Париж. Незвестный — везде и всюду и вместе с тем — неуловим. Агенты перестали доверять друг другу, они арестовывают своих коллег. Их охватывает все большее беспокойство. В тьме ночи творится какой-то дьявольский ералаш. И вот весь Париж начинает дико хохотать. Смеются в барах, на улицах, в дансингах, в скромных рабочих квартирах, смеются на Эйфелевой башне и в метро. Все повторяют последнюю новость.

Но я ее не повторю, уважаемые читатели! Она настолько чудовищна, так неправдоподобна, так идет вразрез со здравым смыслом и нашими убеждениями, что я ее опускаю без колебаний. По правде говоря, я бы заменил точками большинство глав, но в таком случае нечего было бы читать, а вы сами понимаете, что мне — как издателю — это не может быть на руку. Так или иначе, роман отпечатан — и его нужно пускать в оборот. Что же касается его автора, то о нем идут разнообразные толки. Вплоть до того, что он и есть тот неизвестный, который натворил столько безобразий в течение всего лишь трех суток.

На мой взгляд, он, безусловно, русский большевик. Последние аресты в Париже убеждают меня в том, что зараза, идущая из пресловутой страны Советов, распространяется все больше.

Во всяком случае, тождество арестованного недавно маляра Пото с папа Леру из романа — несомненно. Отсюда несомненна связь означенного маляра Пото с большевистской организацией. И я хочу только одного, — чтобы мои уважаемые клиенты, купившие эту книгу, не заподозрили меня в сочувствии ее автору.

Вот почему я пишу настоящее послесловие. Я честный гражданин, патриот и республиканец.

К тому же, я коммерсант.

У меня есть дочь, которой я завещаю нашу фирму, существующую более пятидесяти лет.

Преступники должны сидеть по тюрьмам, благородные люди — среди своей семьи, оберегаемой законами страны.

Так я понимаю девиз нашей республики, начертанный на стене моего дома:

«Свобода, равенство и братство».

В заключение добавлю:

Жорж Деларм по сию пору не опознан среди многочисленных обитателей тюрем, не найден он и в пределах Франции, но сравнительно недавно я получил от него странное послание в несколько строчек, — привожу его целиком, как образец наглости:

«Господин издатель!

По условию, вы должны были выпустить лишь пять изданий моего романа, по 1.000 экземпляров каждое. Вы же выпускаете шестисотую тысячу, не уплачивая мне за следующие издания ни гроша. Черт с вами! Я не собираюсь подавать ко взысканию, так как судьи такие же мошенники, как и вы. Но меня утешает одна мысль, — ваш коммерческий нюх превышает ваши добродетели. Это дает мне уверенность, что мой роман получит хорошее распространение. Я всегда знал, что лучшая агитация против вас — вы сами. Итак, примите от меня в подарок мой гонорар, — в ваших руках он принесет хорошие проценты:

моих единомышленников!

Потому что, — повторяю вслед за моим героем, — *не всегда дважды два равно четырем.*

Жорж Деларм».

Надеюсь, глубокоуважаемые читатели,— комментарии излишни. Каждый из вас по достоинству оценит это упреждение в эпистолярном искусстве.

Я же, со своей стороны, пребываю в уверенности, что ничто не поколеблет доверие клиентов к моей фирме, и остаюсь, в ожидании уважаемых заказов, неизменно преданным —

Эжен Фаскелле

1924 г., декабрь.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ГОСИЗДАТА

Прежде чем печатать эту книгу, вследствие подозрительного характера рукописи, Госиздат в свое время вынужден был обратиться к... агентам Макдональда и Керзона... Как известно, лучшие специалисты и по составлению подложных документов и по их разоблачению там — по ту сторону Ламанша: где практика, там и специалисты.

На этот раз агенты Макдональда имели более блестящий успех, чем в истории с письмом Зиновьева: неизвестными нам путями и способами (о таковых при разоблачениях даже министры в Англии не любят говорить) агенты установили, что печатаемый роман Жоржа Деларма — простой подлог Юрия Слезкина, который, «скрываясь под вымышленным именем, вздумал в аллегорической форме критиковать нравы и обычаи державы, дружественной Великобритании...» (цитата из обстоятельного донесения агентов-спецов).

Юрий Слезкин, не без заширательства, в конце концов признал себя по всем статьям повинным в предлагаемом вниманию читателя романе и лишь в свое оправдание ссылался на... литературные традиции, примеры, начиная от Кузьмы Пруткова и кончая... Мариэттой Шагинян... Поэтому, к общему удовольствию, объяснения можно закончить:

агенты международного сыска, обжегшись на Зиновьеве, отыгрались на Юрии Слезкине: последний получает международную рекламу, а Госиздат имеет возможность издать произведение, тоже кое-кого разоблачающее, более правдивое и интересное, чем... ноты Керзона.

Госиздат

ПРИМЕЧАНИЯ



Публикуемый роман Юрия Слезкина дважды издавался в 1925 г., причем в ленинградском издании (изд-во «Новый век») он был озаглавлен « $2 \times 2 = 5$ ». В издании Госиздата роман получил заглавие «Кто смеется последним» и был уже на обложке «разоблачен» как «подлог Ю. Слезкина». В 1928 г. роман, опять-таки под заглавием «Кто смеется последним» (что является очевидным авторским предпочтением), был включен в собрание сочинений Слезкина и с тех пор не переиздавался.

М. Маликова соотносит «избыточную и малокомическую литературную игру» с нагромождением масок автора и главного героя в романе с «откровенным дневниковым свидетельством Слезкина начала 1930-х гг. о причинах его обращения к псевдопереводному роману: "...все ушло в освоение нового матерьяла, в переучивание, в укрепление заново на совершенно пустом месте (прошлое все насмарку) своей литературной позиции. Борьба за право свое пребывать в рядах советских писателей. Работа черновая, тяжелая, утомительная и подчас горькая, если вспомнить, что как-нибудь за плечами у меня были и известность, и устойчивое матерьяльное положение, и авторитет в известных литературных кругах, и любовь некоего читателя <...>. Была опасность срыва в халтуру, когда сказать было еще нечего, а есть надо было, и положение обязывало, а предубеждение ко мне как к "буржуазному" писателю закрывало передо мною двери журналов и обходило меня гонораром. На грани халтуры мне приш-

лось писать и “Кто смеется последним”, и “Бронзовую луну” — по заказу, к сроку, и только врожденный вкус и чувство меры спасло меня от этого позорища, — эти романы если и не органически мои, то все же достаточно четки и выдержаны со стороны формальной (стилизованы)»». Маликова также отмечает, что «рецензенты романа Деларма/Слезкина упрекнули автора (истинная личность и, вероятно, прошлая литературная история которого были им известны) в том, что он, умело и со вкусом, хотя и сатирически, изображая современную буржуазную жизнь, удачно имитируя бульварный роман, совершенно не понимает и не умеет показать пролетарскую борьбу: “Как-то не умеет автор по-настоящему вгрызаться в факты, как-то мало в нем желчи и негодования <...>. “Жорж Деларм” упорно корчит из себя “скандального” французского романиста, преподносит все со снисходительной усмешечкой, похлопывает по плечу, вместо того, чтобы дать здоровенную затрещину. Излишне много уделяет он внимания любовной волоките, слишком часто смакует альковные тайны. А когда делает попытку противопоставить своим гнилым героям здоровую струю революционного движения, то сразу блекнет, теряет, фальшивит. <...> как советский роман он не особенно удался” (Анисимов. Жорж Делярм. Кто смеется последним. С французского. Подлог Ю. Слезкина. ГИЗ, 1925 // Книгоноша. 1925. № 15/16. С. 25; о том же писал в своей рецензии Дм. Фурманов (Печать и революция. 1925. № 8. С. 244)»*.

В данной книге роман публикуется по госиздатовскому изданию (М.-Л., 1925). Орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Унифицировано написание имени «Али-Бен-Сид-Мустафа» (в тексте встречаются три варианта, нами был выбран наиболее частый). Подстраничные примечания взяты из первоиздания. На обложке рисунок К. Саже.

* Маликова М. Халтуроведение: Советский псевдопереводной роман периода НЭПа // Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103).

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.